ИВ. ШМЕЛЕВ

СОЛДАТЫ



ИЗДАНИЕ РУССКОГО НАУЧНОГО
ИНСТИТУТА
при Русской Академической группе
в Париже

ПАРИЖ
1962

И. С. Шмелев

Солдаты

Роман

Париж
1962

Из Архива-Музея Ивана Сергеевиче Шмелева
хранимого Ю. А. Кутыриной.

Herausgeber: Russisches Wissenschaftliches Institut in Paris
Druck: I. Baschkirzew Buchdruckerei, München-Allach,
Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Ландах в Капбретоне в 1925 году — написан был И. С. Шмелевым роман «Солдаты», оставшийся незаконченным, он был приостановлен.

О романе «Солдаты» не тенденциозная критика отзывалась положительно:

«Художественно-бытовое объективное изображение картин, без выражения симпатий автора, с юмором вскользь к некоторым сторонам русского человека». . . . Роман «Солдаты» отличается от других произведений Шмелева, своей эпической формой изложения. Однако в него вложены те-же национальные и религиозные традиции. В романе «Солдаты» представлено русское общество довоенного времени. Военные круги противополагаются городской интеллигенции. Офицеры, главным представителем которых является капитан Бураев, были носителями военного и национального чувства с определенным и настоящим понятием о чести».

И еще:

«Нам лично первые главы «Солдат» кажутся глубокими и замечательными по замыслу, и по силе выполнения. Как много обещал этот роман! Как не вспомнить острое, волнующее впечатление от него

еще в начале жизни в эмигрантском Париже и горькое разочарование, ... что продолжения романа нет. ... Именно такой роман — художественная правда о старой России и о революции ... необходим нам сейчас, и вдвойне будет необходим будущей России (Возрождение, октябрь 1957 г.).

О романе «Солдаты», сам И. С. Шмелев писал в 1929 году, 25 мая, другу офицеру-инвалиду К. С. Попову:

«Сейчас приступил — и плотно, кажется, — к великой (по размерам) работе «Солдаты», где постараюсь не только дать Солдата, русского солдата-офицера, но пущу пёрышко погулять по всей России, по многим несолдатам; когда солнце сияет гуще, виднее, — тени —».

Все же к «Солдатам» И. С. Шмелев возвращался и написал еще шесть глав, являющимися и самостоятельными этюдами.

В последний год жизни И. С. мне не раз говорил, что хочет взяться вновь за роман, расширить его тему, и закончить.

В интервью в 1932 году И. С. на вопрос — «Почему не продолжается роман «Солдаты?» — ответил: «потому что я приостановил его. Мне показалось тогда не под силу дальнейшее развитие моей темы. Роман должен объять необъятное ...

Начало происходит в мирное время, в захолустье, где стояла воинская часть. Офицер Бураев — один из многих моих героев долженствующих впоследствии появиться. Дальше в романе я предполагаю изобразить эпоху войны, потом он перекинется за рубеж.

Мои «Солдаты», — не только военные, — я к ним в будущем причислю, вообще всех тех, кто стоит за свою идею: журналистов, писателей, общественных деятелей и просто сильных духом русских людей. Получается не роман, а целая эпопея. Широта горизонтов меня смутила . . . »

На Пасхе в 1950 году, вскоре после того, как И. С. написал свой последний рассказ «Приятная прогулка», для пасхального номера газеты «Русская мысль», замечательно удавшийся ему, но после длительного перерыва — болезни и операции — потребовавший от него большого напряжения, чрезмерной затраты сил, всего за два месяца до кончины, больной, лежа на кровати, он опять повторил мне: «Хочу взяться за роман «Солдаты», должен закончить его . . .» И это говорил он горячо, убежденно. Творческое вдохновение писателя сохранилось у Ивана Сергеевича до последних дней его жизни. И, несомненно, если бы Господь продолжил его дни, — роман «Солдаты» был бы доведен до конца, Иваном Сергеевичем Шмелевым, задуманным широким руслом.

Ю. А. Кутырина

ЧАСТЬ I

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

I

— Ро-тный командир! .. — крикнул предупреждающе дневальный, заслышав знакомые твердые шаги.

И, словно выросший из земли, дежурный по роте молодцоватый унтер-офицер Зайка начал рапортовать его высокоблагородию, что в 3-й роте ...ского полка больных нет, в нарядах столько-то... и за время его дежурства никаких происшествий не случилось.

Смотря в бойкие карие глаза взводного, ротный выслушал строго рапорт, и в мыслях его мелькнуло: «а у меня случилось». Спокойно и деловито он сказал — «здравствуй, Зайка», получил облегченно-четкое — «здравия желаю, ваше высокоблагородие!» — и пошел коридором к роте, а за ним, придерживая у бедра штык, последовал на-цыпочках дежурный, тревожно высматривая, все ли в помещении в порядке.

Рота была в строю: шли утренние занятия.

— Сми-рно, р-равнение напра-во... господа офицеры! .. — скомандовал поручик Шелеметов, встречая ротного, и подошел доложить, что делают.

В живой тишине, рота смотрела сотней готовых глаз.

Не здороваясь, — ты еще заслужи рота, чтобы с тобой здоровались! — капитан Бураев прошел по фронту привычных лиц, следивших за ним дыханием, скомандовал — «первая шеренга... шаг вперед!» — прошел вдоль второй шеренги, останавливаясь и поправляя то выгнувшийся погон на гимнастерке с накрапленными вензелями шефа, то криво надетый пояс, деловито-спокойно замечая — «как же ты, Рыбкин... все не умеешь носить ремня!» — или, совсем обидно, — «а еще в тре-тьей роте!» — или, почти довольный, — «так... чуть доверни приклад!» — взял у левофлангового Семечкина винтовку, потер носовым платком и показал отделенному Ямчуку зеленоватое жирное пятно, — «кашу у тебя, братец, маслят!» — сделал франтоватому взводному Козлову, которого отличал, строгое замечание, почему у троих за ушами грязь, а у Мошкина опять глаз гноится, — «доктору показать, сегодня же!» — вышел перед ротой, окинул зорко и улыбнулся нестрогими синими глазами, за которые еще в училище прозвали его «синеоким мифом». И рота внутренне улыбнулась, вытянулась к нему и гаркнула на его — «здорово, молодцы!» — радостное и крепкое:

«Здравь... жлай... ваш... всок... бродь..!»

— Стоять вольно, оправиться!

К нему подошли поручик Шелеметов и подпоручик Кулик, в летних, как и у ротного, кителях, — было начало мая, — поговорили о сегодняшней репетиции парада, о близком выходе в лагеря. Поручик с ротным были приятели, вместе их ранило под Ляояном, но в роте были официально сдержанны.

— Продолжайте, поручик. Ружейные приемы.

Шел дождь. В открытые большие окна слышался его свежий шорох по убитому крепко плацу, по распустившимся тополям под окнами. В роте гулял сквозняк, пахло весной и волей, рекой, застоявшимися плотами и свежим зеленым духом одевавшейся в травку поймы. Капитан подумал — почему занимаются в казарме, а не на воле, — хотел было сделать замечание, но вспомнил, что завтра, перед выходом в лагеря, парад, помнут и измочат гимнастерки и шинели. Отвернулся к окну, на дождь, смотрел, как 16-я, капитана Зальца, шлепает храбро в лужах, а старенький капитан бегает петушком и топает, похвалил боевого ротного, а ухом ловил работу, как ляпало по ружейным лямкам и отчетливо щелкали затворы.

«Но как же быть-то? ..» — спрашивал он себя.

То, что ротный смотрел в окно, и так неподвижно-долго, и то, что в его спине было особенное что-то, — не укрылось от сердца роты. Она старалась. Стройная спина ротного что-то сутулилась сегодня и неподвижностью как-бы говорила: «да как же быть-то? ..» И рота отвечала дружным, с колена, залпом — так!

Этот дружный, надежный залп оторвал ротного от окна. Задумчивые синие глаза его блеснули, веселей оглянули роту, ровные гребешки фуражек, свежие молодые лица, точную линию винтовок, — и молча сказали: молодцы!

«Вот эти ... не изменят!» — мелькнуло в нем.

Он пошел длинным коридором, оглядывая стены, ниши, столбы и своды: казармы были старинные. Мерно шагая по асфальту, глядел на давно знакомое, родное: на развешенные вдоль стен картинки боевых подвигов

славного ...ского полка, на золоченые трубы из картона в георгиевских лентах, на серебряные щиты с годами былых побед, сделанные солдатами, на скрещенные, картонные, знамена, взятые на полях Европы. Литографии славных полководцев, высоких шефов — смотрели из ниш сурово. Спрашивало восторженно — «а вы как?..» — казалось всегда Бураеву, — священное для полка, костлявое серое лицо старенького Фельдмаршала, в дубовом венке, обновлявшемся каждый год в день полкового праздника. И строже, и милостивее всех взирал из высокого киота ротный старинный образ Святителя Николы.

— Лампа-дка..? — показал строго капитан сопровождавшему его Зайке.

Лампадка не горела. Разбили бутылку с маслом, а артельщик забыл купить.

— А ты, дежурный, чего смотрел? Доложишь фельдфебелю — на дежурство не в очередь.

—Слушаю, ваше высокоблагородие! — отчеканил невозмутимо Зайка, потрясенный, что оказалось не все в порядке: все-то «Бурай» усмотрит.

Отвернув одеялки на двух-трех койках и убедившись, что содержатся в чистоте, капитан прошел в ротную канцелярию-закуток и был запоздало встречен отлучавшимся по делам подпрапорщиком-фельдфебелем Ушковым, уже пожилым и раздобревшим, но еще молодцом хоть куда. С широкою бородою с проседью, Иван Федосеич напоминал капитану отца, полковника: вдумчивый, точный, строгий. Выслушав обстоятельный доклад по текущим делам, — Ушков возился с отчетностью, проверял каптенармуса с артельщиком, кото-

рые стояли тут же, вытянувшись у стенки, — Бураев просмотрел ведомости и наряды и отдал распоряжения отчетливо, как всегда. И никто не подумал бы по чеканному его голосу, что у «красавца» на сердце камень, а в сердце нож. «Красавцем» называл его про себя влюбленный в него фельдфебель.

— Смотри, Иван Федосеевич . . . на параде завтра . . ! пальцем закончил ротный.

— Не извольте тревожится, ваше высокоблагородие . . . строго на высоте положения должны оказать!

Как водится это у сверхсрочных, он привык выражаться изуставно.

— Ноги осмотреть, на случай. Гарнизонный, знаешь . . . хоть и не инспекторский смотр, а придет на ум . . !

— Так точно. Его превосходительство любят досрочно, как по тревоге! . . Ноги у всех, в предосмотрении физического порядка тела, ваше высокоблагородие! — особенно тянулся Федосеич, выражал свои чувства ротному: он сегодня узнал от капитанского вестового Селезнева, что у господина ротного нелады с мадамой, и господин ротный всю ночь не спал, а она еще до зари схватилась — и в Москву!

Как раз принесли пробу. Капитан попробовал похлебку, кашу со шкварками. Одобрил. Покатал в пальцах мякиш, понюхал, посмотрел на тянувшегося артельщика Скворцова, сына деревенского торговца, соображая что-то. Артельщик смотрел уверенно, как всегда. Проглядел хлебную ведомость, сам приложил на счетах, справился у себя в пометках и сказал медленно:

— Та-к-с . . .

Все стояли навытяжке, только писарь Костюшка лихо скрипел пером. Капитан все о чем-то думал — не уходил. Думал он, проверяя себя: все ли он досмотрел, в расстройстве. А Федосеич решил по-своему: «расстроился из-за бабенки, та-кой... плюнули бы, ваше высокоблагородие!»

Допросив каптенармуса, выветрена ли обмундировка, и сколько какого «срока» в цейгаузе, сделав распоряжение на доклад старшего лагерной команды о разбивке роты, Бураев закурил и дал папироску фельдфебелю, как всегда. Федосеич принял ее почтительно, двумя пальцами, большим и мизинцем, и положил на край столика. Ротный взглянул на его серьезное, мудрое лицо с ясным открытым взглядом, как у отца, и вспомнил отца-полковника и его яблочные сады, куда все собирался съездить, — и не один, — показать, как они цветут... «Съездить и посоветоваться? Да о чем же теперь советоваться!..» — спросил и ответил капитан. Передернул плечем от нетерпения, вспомнив, что завтра еще парад, а после завтра полк в лагеря уходит, и предпринять ничего нельзя. Но сейчас же и овладел собой, взглянул на часы и велел прекратить занятия.

«Подать рапорт... по экстренным обстоятельствам, на несколько дней в Москву?» — пробежало в нем искушение. Но он тут же и подавил его: в такое время роту нельзя оставить.

«Но что же сделать... убить?..» — задыхаясь, подумал он. Как раз через роту шел заведующий оружием, за которым несли наганы.

«Сразу все кончить, смыть эту грязь...»

И заманчивая, и утоляющая жгучую боль картина, как это будет, представлявшаяся ему все утро, встала опять в глазах.

— Идем, Степочка? .. — встретил его поджидавший у выхода из роты Шелеметов с подпоручиком Куликом. — Вот, Куличок просится от вечерних, приехала мамаша.

— Так точно. Разрешите, господин капитан? .. — Вытянулся, краснея, подпоручик, не забывший еще училища.

— Ступайте, Куличок, Бог с вами. Перед мамашей пасую, — улыбнулся ротный. — Помните, парад завтра... ни мамаш, ни папаш!

— Так точно, господин капитан! — щелкнул весело каблучками подпоручик.

Бураев с Шелеметовым пошли в собрание, наверху.

— Совсем зеленый наш Куличек, — говорил Шелеметов, чувствуя, что у Степочки что-то «не тово», и примеряясь, как разговаривать. — Притащил абрикосовских громадную коробку, с ромом, и всю сожрали... взводных и Федосеича угощал! А тебе постеснялся предложить, здорово импонируешь! Помнишь, как я-то тебя стеснялся? А помнишь, под Ляояном... прикрыл ты меня шинелью, тут я тебя сразу и почувствовал! ..

— Да, было время... — думая о своем, рассеянно отозвался ротный.

И подумал, смотря на круглое, белобрысое, «бабье» лицо поручика: «славный Шелеметка... и этот не изменит, с ним бы поговорить?» И, как часто бывало с ним, решил неожиданно — налетом:

— Зайди-ка ко мне часа в два, перед занятиями... А сейчас —

Выпьем дружною семьею
За былые времена!

— За былы-е времена-а!.. — запел Шелеметов, когда-то мечтавший стать кавалеристом, —

Завтра, утренней порою,
Пробужденные трубою,
Станем бодро в стремена!

Они поднимались по широкой каменной лестнице, с косыми, истертыми ступенями. Прижимаясь к стенке, попадались навстречу солдаты с котелками; обгоняли сторонкой, нарушая устав, артельщики с лотками «воробьев» — дымившихся аппетитно комков говядины, жилисто-синеватой, как раз по зубам солдатским; тащили в мешках душистые калабушки хлеба. Остро пахло солдатским варевом — лавровым листом и перцем. Попавшийся полковой адъютант поручик Зиммель, кудрявый и румяный, которого солдаты называли «Зина» за девочкино лицо, сообщил секретно, что пришел проект нового полевого устава, и командир назначил комиссию из батальонных и по ротному с батальона, включил и его, лихого командира 3-й роты, в приказе будет.

— А Августовского не включил! — шепнул весело адъютант. — Не любит старик штабных...

— Кто же от 2-го батальона тогда? — спросил Бураев.

— Чекан. От третьего Густарев, от четвертого — Зальцо.

— Правильно, — сказал Бураев. — Все тертые. Молодец старик, даже любимца Фогелева не назначил! Что же, боевых офицеров выбрал... не будет обидно Августовскому.

Это было приятно, но скользнуло поверх того, что теперь было самым важным: не рота, не экзамены в академию, к которым готовился всю зиму, и даже не «Ночной бой», удачная работа, обратившая на него внимание военных кругов и вызвавшая к нему ряд писем, — между прочим, от известнейшего профессора академии. Единственным важным, и даже страшным, — а страшного для него до сего времени не было, — являлся теперь вопрос: действительно ли изменила ему Люси, или это ему так кажется; просто — странное совпадение событий, и ничего рокового нет?

В столовой собрания было, как всегда, шумно и накурено до-синя. Сновали солдаты в гимнастерках, подавая на столики; перекликались и шутили офицеры. На широком, историческом диване, вывезенном из Турции, — на нем, по преданию, спал Скобелев и прорвал шпорой шелковую обивку, так полоса и сохранилась, — сидели все офицеры 2-го батальона с подполковником Распоповым в середине, а штабс-капитан Оксенов, знаменитый в полку фотограф, снимал их группу, в память тридцатилетия службы в офицерских чинах полковника. Все кричали Оксенову, чтобы непременно захватил картину над диваном — «Вступление русских войск в Берлин». Рядом, в биллиардной, сощелкивались шары, и слышался трубный веселый бас батальонного Туркина — «В брюхо от дво-ех бортов, голу-бчики... Сделан!» Командир 16-й роты, сухенький капитан Заль-

цо, замечательный куровод и кушкинский герой, отряда генерала Комарова, участвовавший по доброй воле и в японской кампании, где был отличен георгиевским оружием, но почему-то не получил полковника, — «до третьей, видно, кампании отложили, не дай Бог!» — говаривал он шутливо, — решал со своими «молодшими» задачи из германского сборника, недавно полученного в полку. Завидев капитана Бураева, он шлепнул по столу, на котором лежала карта, и, сверкая серебряными очками, седенький и плешивый, крикнул звенящим голосом:

— Вот кто решит с налету, и единственно правильно... Буравчик! Иди, Буравчик, сюда, покажи-ка моим молодшим!..

И подставив ко рту сухенкие ладошки трубочкой, подмигивая к окну, где играл в шахматы совсем молоденький капитан 5-й роты Августовский, недавно кончивший академию и отбывавший свой ценз в полку, добавил дружелюбно:

— Вот, милый наш академик сразу решил... только очень уж мно-го-гранно и тонко... и при наличии резерва... А немец требует «с соблюдением крайней экономии»! Нет, интересно, ты погляди... немцы, как-будто, подсмотрели классический случай... помнишь, у меня случилось, у деревушки Фу-Чи-Су-Лян, когда мы со стрелками, ночью, прошли болото? И никакого резерва не было, а обошли и всыпали?..

Фу-Чи-Су-Лян-то?.. — отозвался рассеянно Бураев, только что приказавший буфетчику налить «большую», и лицо его сразу посветлело, когда он вспомнил. — Как не помнить!.. Ну, Шелемета... выпьем за Фу-

Чи-Су-Лян, — чокнулся он с поручиком, закусил наскоро брусничкой и подошел к капитану Зальцу. — Задание? — пробежал немецкий текст и поглядел на кроки задачи. Болото и тут, и тут?.. высота занята противником, четыре роты... единственная дорога в тыл... хорошо! У меня две роты, справа речка... левый фланг упирается в болото... гм... Так вот, исходное положение мое так...

Он схватил карандаш и набросал решение — «налетом».

— Единственно так, по-моему? Стремительной лобовой атакой, в полторы роты... Полуротой оттянуть внимание противника на речку. Мои бы ловко проделали!.. Только здесь посложней, чем у тебя под Су-Ляном. Там болотце с одной стороны было... — вдумчиво сказал он, всматриваясь в кроки. — Интересное положение, на темперамент. Лобовой атакой — и никаких.

— Что, не говорил я тебе, что ты гениус романус! Могу тебя поздравить, и задачку-то немец содрал у Юлия Цезаря, под этим... как его?.. Не помните, капитан, где это Цезарь чуть было не сел в калошу, в болота-то его легион попал?.. — крикнул старенький капитан Августовскому.

— Двадцать раз попадал и выходил сухим... — раздумчиво отозвался Августовский, вертя конем.

— Ты, голубчик-Буравчик, и сам не знаешь, **что** ты изобразил! Куда проще немецкого решения, ей-ей!.. Гляди, как немец распорядился... — показал он решение.

Подошли другие, и началось обсуждение. Большинством голосов признали, с командиром 2-го батальона Распоповым, считавшимся за великого знатока, что это — единственно точное решение, «чисто суворовское».

— Не доживу я, Бурав, — вздохнул Зальцо, и Бураев подумал, глядя на вздутые на висках капитана жилы, что он долго не проживет, пожалуй, — а быть тебе корпусным . . . в академию если попадешь, понятно. И был бы я тогда при тебе . . . полковничком!

— Доживешь — и будешь, — сказал Бураев, шутя, и вдруг насторожился: по устремленным глазам шедшего к нему солдата с фиолетовым узеньким конвертиком он почувствовал, что это письмо ему.

— Будешь . . . если фиолетовых записочек получать не будешь! — пошутил в общем смехе Зальцо.

— Кто подал, откуда? — спросил Бураев в смущении, вглядываясь в нетвердый почерк: он ждал другого.

— Не могу знать, ваше благородие! — сказал молодой солдат. — Дневальному от ворот подали. Приказал господин взводный осьмой роты, Пинчук . . . иди, передай в собрание . . . они там. Видал, девчонка босая прибегала к воротам, в руку ткнула, а сама убе-гла . . .

— Ступай.

— Душистое? . . — подмигнул на конвертик Зальцо. — И я получал, бывало . . . очень-то не гордись.

Бураев сунул письмо в карман, выпил еще с поручиком и напомнил — зайти часа в два к нему. Вспорхнувшее было сердце упало и остро заныло болью.

II

В нижнем коридоре у выхода попался ему сдавший дежурство Зайка и стал во фронт. Думая о своем, Бураев рассеянно козырнул и сейчас же вспомнил про ротную лампадку. «Это я в раздражении назначил», — проверяя себя, с недовольством подумал он, — «Зайка невиноват, если тянул артельщика». Он вернул исправного всегда взводного, ловкого и веселого хохла, и внимательно расспросил его, как было. Оказалось, что и артельщик невиноват: масло только что пролили, а запаса не оказалось.

— Скажешь фельдфебелю — отставить, — сказал Бураев.

— Покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие! — без движения на лице, крикнул чеканно Зайка, и по этой чеканности Бураев понял, как тот доволен.

«Держи и держи себя, не распускай! что бы ни случилось — воли не выпускай!» — мысленно, как монах молитву, произнес Бураев заветное свое правило, в какой уже раз за утро. Правило это, принятое еще с училища, оправдало себя не раз. И теперь, мысленно повторив его, он почувствовал облегчение: то, что случилось с ним, показалось ему не безысходным, требующим еще разведки. Раньше парада и выхода в лагеря — роты нельзя оставить, это ясно. А сейчас, может быть, в письме?..

Он открыл находу письмо, но оно было из обычных любовных писем, которыми ему надоедали: показалось на первый взгляд. Последнее время, правда, они приходили редко: у него же была Люси! Он прочитал внимательней, вглядываясь в нетвердый почерк, и его удивили выражения: «Вы меня мучаете давно-давно!» «Я безумно хочу Вас видеть, должна видеть. Вы должны прийти, иначе меня не будет в жизни, клянусь Вам!» «Вы все узнаете». Это «все» особенно останавливало его внимание. О том — все? Ему казалось, что — да, о том: хотелось. Письмо было в несколько строчек, раскидистых, неровных, но неподдельно искренних, молящих, близких к отчаянию. Оно молило — «сегодня-же, непременно сегодня» прийти за Старое кладбище, на большак, откуда поворот на село Богослово, — «другого места я не могу придумать, боюсь скомпрометировать и себя и Вас». Час был указан довольно поздний, 8, когда темнеет. Подписано буквой — К.

Бураев перебрал всех знакомых, где были дамы, от кого можно было бы ожидать подобного, но ничего подходящего не нашел. Остановился было на молоденькой и веселой Краснокутской, жене командира 4-го батальона, но сейчас же с усмешкой и откинул: она только что родила и не выходит. Это « глупенькое» письмо — он так и назвал его — его надоедно раздражало. Было совсем не до свиданий, но что-то, бившееся в строках, начинало его тревожить: и то, что в этом, может быть, есть связь с тем, и неприятно волнующее совесть — «иначе меня не будет в жизни, клянусь Вам!»

Он ничего не решил, зная, что это придет само, «налетом».

С Большой улицы он свернул под гору налево, и открылся простор — на пойму, с черной полоской бора. Переулок был весь в садах. В самом конце его, в вишневом молодом саду, стоял беленький флигелек, найденный так счастливо, «милое гнездышко», — называла его Люси. Бураев остановился, — не хотелось туда идти. Вспомнил, что Шелеметов зайдет к нему, а сейчас уже скоро два, и надо скорей решать, и это его заставило.

Переулочек с тупичком, где укромно стояла церковка, взятая кем-то на картину, — открывалась с обрыва чудесная гладь Заречья, — показались ему другими, противными до жути, словно и здесь — бесчестье. В моросившем теперь дожде унылыми, траурными казались начинавшие расцветать сады, что-то враждебное было в них. Грязноватыми мокрыми кистями висели цветы черемух, так упоительно пахнувших недавно, теперь нестерпимо едких. Гадко смотрел гамак, съежившись под дождем. Недавно о н а лежала, глядела в небо . . .

У Бураева захватило дух: «а если . . . это письмо? . .»

Он представил себе Люси — живую, всегдашнюю, лежавшую в гамаке в мечтах или нежно белевшую с обрыва, смотревшую в даль Заречья, — и острой болью почувствовал, что без нее нет жизни. И показалось невероятным, что все закончилось. А если это — ее игра? . . Это так на нее похоже, эти изломы сердца, бегство от преснотцы, от скуки . . . Она же заклинала, что нет ничего такого . . . самый обычный флирт! . . . Подстроила нарочно, помучить чтобы, новую искру выбить

и посмотреть, что будет?.. И когда все покончено... — это письмо с «свиданьем», — какой эффект!..

Он толкнул забухшую от дождя калитку, и на него посыпался дождь с сиреней, собиравшихся расцветать надолго. Много было сирени по заборам, много было черемухи и вишни, — из-за них-то и сняли домик. И вот подошло цветенье...

Обходя накопившуюся лужу, Бураев пригляделся: е е следки! Ясно были видны на глине арочки каблучков и лодочки. С самого утра остались, когда она «убежала от кошмара», воспользовавшись его отсутствием. Зачем он ее пустил? Но он же выгнал?.. Уехала с товаропассажирским, когда в десять проходит скорый!.. Сознательно убежала, ясно. Сунуть записку в столик... А эти глаза, скользящие!.. От страха убежала.

Бураев вспомнил про револьвер, про ужас. И вот, перед этими следками в луже, ему открылось, что эти следки — последние, и т о, что его терзало, действительно случилось, и исправить никак нельзя.

— К чорту!.. — крикнул он вне себя и бешено растоптал следки, разбрызгивая грязью. — У, ты!.. — вырвалось у него грязное слово — потаскушка.

Денщик-белорус Валясик выглянул из окна и стремительно распахнул парадное. Заспанное, всегда благодушное лицо его, напоминавшее капитану мочалку в тесте, — такое оно было рыжевато-мохнато-мягкое, — смотрело с укоризной.

— Покушать запоздали, ваше высокоблагородие. А я куренка варил, все дожидал... Спросил барыню, а она ничего не говорит... а потом говорит, ничего не на-

до. А я сам уж, куренка сварил. Вот мы и ждали, ваше высокоблагородие!

— Кто ждал? — спросил капитан, прислушиваясь к чему-то в доме.

— А я ждал, супик какой сварил . . . — лопотал Валясик, бережно вешая фуражку. — Сапоги-то как отделали, дозвольте сыму, почистить.

— Почта была? — спросил капитан, не видя почты на подзеркальнике.

— Было письмецо, на кухне лежит. А я в роту хотел бежать, забеспокоился . . . долго вас нет чего-то.

Письмо было от старого полковника, из «Яблонева». Капитан не спешил прочесть. Он прошел в салончик, красную комнатку, заставленную стульчиками и пуфами, вазочками, букетиками, этажерочками, с веерами и какими-то птичьими хвостами на бархатных наколках, с плисовыми портьерами, с китайскими фонарями с бахромой. Пахло японскими духами и кислой какой-то шкурой, купленной е ю на Сухаревке, в Москве. Оглянул с отвращением — и остановился у большого портрета на мольберте. Долго глядел, вспоминая черты живой: страстный и лживый рот, чуть приоткрытый, жаждущий, — все еще дорогой и ненавистный; матовые глаза невинности — девочки-итальянки, похожие на вишни, умевшие загораться до бесстыдства и зажигать, — и маленький лоб, детски-невинный, чистый, с пышногустыми бровками, от которых и на портрете тени. Эти бровки! словно кусочки меха какого-то хитрого зверушки . . . Вспомнил: когда Люси появилась в городе и делала визиты, командирша определила томно: «ничего, мила . . . так, на случай!» Вспомнил и про двусмыслен-

ные слухи, приползшие с губернатором из Вятки, которые назывались «вятскими», — и все-таки все забыл!

За салончиком была спальня, с итальянским окном к Заречью. За площадкой с куртинками падал к реке обрыв, с зарослями черемухи, рябины, буйной крапивы и лопуха, с золотыми крестиками внизу — церкви Николы Мокрого. Соловьи начинали петь, и даже теперь, в дожде, щелкали сладко-сладко.

Кинув на теперь омерзительную постель сползшее голубое одеяло, напомнившее ему о ночи, когда он метался по дорогам, Бураев достал обрывки найденного письма и опять принялся читать, упиваясь страданием: «и всю тебя Лю ... которые не могу забыть ... бархатные твои ко ... первое наше бур ... бровки, мои «медведики», которые вызывают во мне ... пахнущие гиацинтами твои ... летели на вокзал, а твоя шапочка вдруг ...» Только и было на обрывках, завалившихся в щель комода, но эти слова пронзали. В чем же тут сомневаться, ясно! Почерк его, наглого подлеца в пэнснэ, знаменитого «Балалайкина», защитника «всех любвей, угнетенных и безответных», как кокетливо рисовался он, волнуя сердечки женщинок. Стало совершенно ясно: в последнюю поездку в Москву в январе, «на елку», она потеряла шапочку ... — «Из сетки в купэ пропала, какая-то дама со мной сидела ... не она ли?» — возбужденно рассказывала Люси, такая чудесная с мороза, как розовая льдинка, в розовом своем капоре. — До чего я иззябла, милый ... согрей меня ...» Было четыре часа утра, мороз — за 20. Он сам ей отпер, заслышав морозный скрип. И они до утра болтали в качалке у постели, перед пылавшей печкой ... и Люси

кормила его пьяными вишнями из длинной коробки от Альберта, с Кузнецкого, которую она — «как кстати!» — выиграла у Машеньки на елке. Тогда-то и появились «мои медведики!» Она гладила его щеки своими пушистыми бровями, щекоталась его усами, он целовал ей бровки — его «мохнатки», и она вдруг сказала, закрыв глаза, изгибая в истоме губы: «лучше — «медве-дики» . . . они дрему-учие у меня, правда?» И он повторял в восторге — «медведики . . .» милые мои «медве-дики . . .» — и принимал с ее губок вишни . . .

«Нет, я ее убью! . . и этого . . . убью, убью ! . .» — говорил он себе, чего-то ища по комнате. — »Чувствовала, что ! . . Сбежала . . . я бы ее убил! . .» — повторял он, страдая и не находя исхода, зная, что сейчас он ее убил бы. Он сорвал браунинг со стены, памятный браунинг, отнятый в Томске у стрелявшего в него дружинника в башлыке, которого тут же и застрелил из его же браунинга, — было это во время забастовки, когда возвращались они с войны, — и сжал его крепко-крепко. Она так боялась этого браунинга! . .

— Господин поручик идут, ваше высокоблагородие! — доложил Валясик.

Бураев решил «налетом», что говорить с Шелеметкой не о чем. Предлагать, как т о г д а правителю канцелярии, — на пистолетах? Теперь некому было предлагать. Теперь самому надо «требовать удовлетворения», и из-за такой-то! . .

«Нет, я ее убью, у-бью! . .» — повторял возбужденно он, вешая браунинг на стенку и стараясь понять, что же сказать поручику. Спрятал письмо под книгу и вы-

шел, посвистывая, в столовую. Одиноко лежал на столе куренок, грозясь култышками.

— Вот и хорошо, Вася . . . Куренка хочешь, водки? Валясик, пива!

— Пива выпью, — сказал поручик. — А что Людмила Викторовна . . . как насчет пикника? . .

— Придется отставить, видно . . . в Москву поехала, по делам, — спокойно сказал Бураев, наскоро выпивая пиво. — Так вот. Репетиция в четыре? Да, вот о чем . . . Смотри, брат, не подкачай завтра! Бригадный здорово соленый, в аттестации ему что-то намарали . . . кажется, к осени в отставку.

— С тобой-то да подкачаю? . . Значит, наш Гейнике в надеждах . . .

— Определенно. Ничего нового? . .

— Не слыхал? . . гимназистка в «Мукдене» застрелилась!

— Кто такая? . . Везет нам на происшествия! . .

— Лизочка Королькова. Хорошенькая такая . . . недавно с ней танцевал, такая прелесть.

— Ко . . . ролькова? . . — удивленно спросил Бураев, вспомнив о букве — К. — На ро-манической подкладке, что ли? . . Не помню такой . . .

— Ну, как не помнишь . . . четыре раза на дню мимо квартиры ее проходишь! Как-то мне говорила — «почему ваш Бураев такой суровый». Очень тобой интересовалась.

— Вот как! . . — смущенно сказал Бураев, думая о письме. — Что за причина, не знаешь?

— Известная. С семинаристом в номере была . . . Ну, «огарки», понятно, чорт их знает. В записке обычное

— «прошу никого не винить» и — «прости меня, дорогой папа». А сейчас попался отставной генерал жандармский, говорит — на политической почве! Запутали девчонку, испугалась . . . или отец тут что-то, — из дому выгнал? — а она! . . Обыск у отца сейчас . . . столоначальник казенной палаты. Но вот что подло . . . Семинарист-то этот убежал из номерка, после «бурной ночи»-то, а записка его, тоже с «не винить» осталась! И сволочь же пошла! Может, и застрелилась-то потому, что поняла, каков гусь.

— Чушь какая-то! — раздраженно сказал Бураев, — Если отдалась, и вдруг, — хлоп!

— Какая девчонка-то была! . . Будь деньги для реверса, ей-богу бы женился! — не то шутя, не то по серьезному сказал поручик. — Скучно одному мотаться.

— Вот тебе раз! — усмехнулся Бураев криво. — Частенько что-то стало повторяться . . . От ра-зо-чарования?

— За два года четвертый случай, и все в номерах! Такое гнилье пошло, интеллигенция наша. Был недавно на лекции этого хлюста из Питера . . . цветами засыпали девчонки и мальчишки! Уж старик, пле-шивый весь, слюнявый . . . и — «Половой вопрос и социальное его разрешение!» Загвозистое все подносят. А то еще — «Бог и . . . половое чувство!» А полицмейстер и заклеил «половое'-то, и вышло «Бог и . . . чувство!» Ты-то не был, а я, брат, насилу билет достал, у народного дома вся площадь была забита! И губернатор слушал, только в закрытой ложе.

— Охота была! . .

— Подмывало послушать, как это он подведет! По-двел, с... с!.. Уж и городил, — никто ничего не понял. И опять цветами засыпали. И опять был «социальный строй», какое-то плотско-духовное перевоплощение... в Новом Мире. И все — мы, мы, мы... мы предтечи, дайте нам какие-то све-чи!.. И поведут. Глядел я глядел на него... Этот был совсем молодой, а морда прыщавая, гнилая, из «сексуалистов», понятно... Глядел и думал — уж как тебе хочется повести за собой Лизочек этих и устроить с ними «перевоплощение». Откуда они берутся только!.. А молодежь, такая-то рвань пошла...

— Молодежь-то бы ничего, а вот «вожди»-то ее!.. Читают-то свое гнилье сознательные, с плешью даже. А молодежь вон стреляется, очертя голову!.. Знаю эту... интеллигентщину нашу. Не выдержала девочка гадости — и...

— Ну, что же, капитан, скажешь... хотел что-то?..

— Да так... посидеть с тобой хотел, скучно что-то, — сказал Бураев, не найдя ничего другого. — Налей и мне.

— А я, брат, Карлейлем зачитываюсь, бодрит. Молодчина, не чета нашим «половым». Да, личность... личность роль играет!

— Вот так открытие! Это и до Карлейля давно известно, и в училище нам долбили. А вот наши-то господчики только о «массе» и долдонят. Послушал я их в Харбине тогда, и по всей дорожке. Мы с тобой знаем «массу», водили и в бой, и... и поведем, когда придется. А вот эти господа... они пятака своего не дадут «массе»-то! Ли-чность... И у собак даже роль играет,

вон у нас на плацу кобель, пегий . . . какую роль играет!

— Пропадает героизм, вот что. Личностей-то уж нет . . . вот и пошло, про «массы». Что вон этот плешивый, без «массы»-то? Приехал, собрал стадо и деньгу зашиб, и ручки у него целовали девчонки . . . и любую мог бы «за собой повести». Даже и тут «личность» играет роль, только . . .

— . . . в половых вопросах, а на большее не хватит! — раздраженно сказал Бураев. — И охота тебе всякую галиматью слушать. Право, лучше Карлейля читай. Помнишь, в Харбине, как они «фейерверки» свои пускали, разжигали? Я еще понимаю боевиков . . . Идет, чорт, со своей бомбой и ставку делает: его ли повесят, или он . . . всех ограбит и будет нас с тобой вешать! А вот эти, с воротничками, как тот плешивый, и все эти «эстеты» плакучие — такое-то шакальё . . . эти к боевикам потом прибегут, крошки подбирать. Я этих краснобаев ненавижу, как! . . Помнишь, осенью приезжал из Москвы проститутку Малечкину защищать, которая мужа-бухгалтера отравила? Дрянь преестественная, развратная до . . . ротного писаря, до пожарного, до . . . И на глазах детей запиралась с любовником в супружеской спальной . . . А бухгалтер терпел, подозревал и терзался, штопал детям чулочки . . . и не давал ей развода, знал, что так и до публичного дома докатится . . . и «героиня» его три месяца отравляла! А тот «балалайкин» страдалицу из стервы сделал! Плакали наши дамы в суде, три дня не обедали — «ах, неужели ее на каторгу?!» И, подлец, сам от своей речи плакал или луком глаза тер . . . Все искривил . . . и что же! Шестеро мужиков признали, что дрянь, а шестеро дураков, что

героиня! И героиня вышла гордо, и гимназисты поднесли ей ро-зы! У!.. — хлопнул он кулаком. — Тьфу!.. Нет, в академию!.. к чорту!.. — крикнул вдруг капитан так страшно, что Валясик, пивший чай в кухне под соловьев, вскочил и вытянулся у двери:

— Чего изволите, ваше высокоблагородие?

— Что? Ступай... — сказал упавшим голосом капитан.

Он прошел, широко шагая и треща пальцами, и не в силах дольше терпеть, решил «налетом»:

— Надо тебе сказать... придется мне, как в лагеря выйдем, дня на три отлучиться, а тебе заступить. Но вот что... и ты меня не спрашивай, — уклончиво вытянул из себя Бураев, хотя должен бы знать, что поручик всегда был осторожен и тактичен, — на всякий случай я тебе оставлю письмо, которое ты вскроешь и сделаешь, как там сказано. Будь покоен, — оговорился Бураев, видя, как взглянул на него поручик, — я уверен, что вскрывать тебе не придется, но... кто знает? Бывают обстоятельства, когда... ну!.. как в бою. Уверяю тебя, ничего такого, чего ты не мог бы, против чести... дело чисто личное.

— Да я же знаю, Степа... и даю тебе слово. Ты меня извини... я не смею касаться личного, но все ли ты про... продумал? — осторожно, боясь коснуться, чего касаться не следует, спросил поручик. — Когда личное, не всегда может показаться, как есть на самом деле. Прости, это ты и без меня знаешь и сам меня этому учил, но... бывает!..

— Да, конечно, возможно... — и Бураеву на мгновенье показалось, что еще возможно, что того не

произошло; но по пустоте в комнате, по этому нетронутому курчонку на длинном блюде стало вдруг совершенно ясно, что несомненно произошло и происходит сейчас в Москве.

Он вскочил, даже испугал поручика, и, схватившись за голову, пошел куда-то, повернулся к столу и выпил прямо из горлышка: так ему ярко встало, что происходит сейчас в Москве. Ехать сейчас же, и... Но, ведь, уже с л у ч и л о с ь, а надо приводить в рапорте ложь и ложь... и только месяц тому он уже отлучался, с н е ю... а завтра парад, и надо представить роту, это служебный долг, и не исполнить его нельзя, так же как и в бою нельзя оставаться сзади. «Держи и держи себя, не распускай... что бы ни случилось — воли не выпускай!» — мысленно приказал он себе и сейчас же вспомнил, что кто-то умоляет его придти, «иначе меня не будет в жизни, клянусь Вам!» Неужели это она, застрелившаяся гимназистка Королькова? Но ведь еще не вышло срока, помечено субботой. И там какой-то семинарист... Нет, ехать сейчас нельзя.

— Ты сделаешь. Спасибо, милый Васюк. Иди в роту, я скоро подойду.

И они крепко пожали руки.

Идти в спальню Бураеву не хотелось. Он взял брошенное на стол письмо от отца и стал невнимательно читать: что там особенного! Но особенное как раз и оказалось, и чем больше вчитывался в письмо Бураев, в крепко и крупно написанные слова отца, тем больнее, до обжигающего стыда, чувствовалось ему, дочего же он низко пал. За последние полгода отец переслал ему уже восемьсот рублей, с каждой посылкой покрехты-

вая все больше и оговариваясь, что «все бы ничего, да неурожай яблока подвел, подлец», что Паше не пришлось послать ни копейки, «а сам знаешь, подпоручику трудней жить, на 80-то рублей . . . вот если бы вы в одном городе жили . . . надо ему хлопотать о переводе в твой полк, так ему и написал, и ты его вытащи, а то он что-то и не почешется . . . уж не завел ли «штучку»?» Жалел полковник, что — «дернуло меня, купил зачем-то в прошлом году пролетку!» В последний посыл, когда дозарезу понадобилось сразу четыреста — на беличью шубку Люси! — старый полковник «наскреб всего триста пятьдесят, у подлеца Куманькова прихватил под будущее», а «Костиньке в Питер мог всего четвертной послать, а он по урокам бегает и запускает работу в Институте, а ему надо к маю проекты сдавать, и обиделся на меня, так полагаю, другой месяц ни строчки от него. А уж о кадетике и говорить нечего, только яблоков и послал. И Наташе все собираюсь, а у ней за пианино полгода не плачено . . . так что ты уж как-нибудь . . . Вот если бы пенсион подняли, да что-то Государственная Дума о нас не думает, а Александровский Комитет вот пошлет за пульку — вышлю». Это предпоследнее письмо теперь остро вспомнилось капитану и это — «за пульку» — бросило его в жар. «Боже, Боже . . .» — прошептал он, хватаясь за голову, — «скотина . . . сам бы мог старику давать, обя-зан был давать! . .» Завел «штучку!» Какая подлость! . .

Он поднялся, увидал себя в зеркале и отвернулся. По кинутым резко в стороны, выгнутым на концах бровям, «энергическим, от бабушки-черкешенки», как говорил полковник, и по черному с синевой хохлу — у

полковника был такой же, только немножко с солью, вспомнился ему, как живой, отец, с утра до вечера на ногах, с лопатой или киркой, в широкой шляпе, под яблонями, как рядовой рабочий. «В глине копает ямы, все насаживает для нас, а у него пуля под самым сердцем . . . и на воды ему необходимо, а я . . . шубочки покупал, стульчики, фонарики пошлые . . . о, чорт! . .» Но это письмо было яснее ясного. Заканчивал так полковник:

«Значит, уже не взыщи. Куманьков дает тысячу, но это лучше зарезаться. Скажи прямо: проиграл, растратил? . . Не поверю. Ты не таков. Бураев? Не поверю, не хочу думать. Значит, не по средствам живешь. Извини, но это уж эгоизм, в ущерб всем. Посократись. Понимаю, дело молодое, и ты мне, я не забываю сего, из Маньчжурии тогда прислал тыщенку-другую, на сад пошли . . . Но видит Бог — на новые сапоги не собьюсь. Не обижайся, Степа».

Бураев опустил на руки голову и сидел неподвижно, пока Валясик не окликнул его тревожно:

— В роту, ваше высокоблагородие, не запоздаете . . . уж четвертого половина? . . Так и не покусали ничего . . .

III.

Что случилось с Бураевым в его личной жизни, — было, конечно, самым заурядным, случалось не раз на его глазах с другими и казалось тогда нисколько не ужасным, а даже, скорее, интересным.

В общем, человек нравственный, воспитанный и отцом, и суровой школой в уважении к женщине и, пожалуй, даже в благоговейно-рыцарском отношении к ней, в любовных делах он совершенно искренно признавал за нею свободу распоряжаться своими чувствами и как бы проявлял этим преклонение перед ней: прекрасная, она вправе дарить любовью. И это было в нем не из книг, не от чистой только поэзии, которую он любил, — Лермонтова особенно, — а от той оболочки жизни, от той благородной оболочки, которая была перед глазами с детства. Память о его деде, которого он не знал, полковнике-кирасире Бураеве, дравшемся, как простой армеец, на бастионах Малахова Кургана, была для него обвеяна легендой: Авксентий Бураев женился на своей «почти крепостной», дочери пленного черкеса, потеряв через то и огромнейшее отцовское наследство, и карьеру. Мало того: дважды он дрался на дуэли «за недостаточное внимание» к его супруге и был убит на третьей, защищая честь женщины, мало ему знакомой, но, по его мнению, достойной, с которой он танцевал на одном балу и которую «жестоко оскорбили непристойнейшим замечанием, что она танцует, как цыганка».

Таким же был и его отец Александр Бураев, участник Хивинского похода, доблестно бравший Карс и под ним дважды раненый, в молодости отмеченный самим генералом Черняевым и сломавший свою карьеру — прямотою. Этот женился на «полтавке», из казачьего рода Бич, выходца с Запорожской Сечи, институтке-патриотичке, одинокой и бедной девушке, рыцарски по-

клонялся ей, «небывалой красавице, с глазами — как Черное море, синими».

Она любила цветы, и насколько помнил себя Степанка, теперь капитан Бураев, всегда он видел: много цветов — и мама. Завывала метель за окнами, в доме трещали печи, а в голубой светлой комнате — белые гиацинты и тюльпаны, выращенные отцом в теплицах — мальвы, и васильки, и ландыши. Сладко цветами пахла синеглазая мама — первая его женщина, святая. Так и осталось в нем: голубые и белые цветы, и в них, как царевна, мама. И перешло это на других, на всех, — благоговение перед н е ю — женщиной. Мама могла сердиться, кричать на папу, кричать несправедливо, но . . . «она — жен-щина!» — так всегда говорил отец. И в этом широком и нежном слове слышался аромат цветов. Так и осталось в нем, с первого детства и до школы, пришло с ним в корпус, в училище, в казарму, ушло на войну, вернулось, не поблекло. С женщиной надо — осторожно, нежно. Женщина, это — высшее, лучшее, что ни есть на свете. Женщине надо уступать, всегда, всячески охранять, лелеять . . . — и в этом последнем слове слышалось для него лилейное, от цветов. Мама давно ушла, в цветах и лилейном платье, и осталась живой — в душе. И живым, но каким-то забытым отражением явилась Клэ . . . первая, детская влюбленность.

Это было в «Зараменьи», в соседях, как милый сон. Солнечная, зеленая оранжерея, цветущие апельсинные деревья, померанцы, сладкий и пряный воздух, в котором нега, и тонкая, легонькая Клэ, воздушная, в розоватом газе, в черных, блестящих локонах на ма-

тово-смуглых щечках . . . острые локотки, полудетские худенькие ручки, обвившие неумело его шею, капризно кривившиеся губки, которые вот-вот заплачут, и удивительные глаза, — за них называли ее мужчины «сухим шампанским», — необычайные, менявшиеся внезапно, как топазы: то вспыхивали они игристо, золотистыми искрами, то равнодушно гасли. Она сорвала персик . . . и вдруг, поцеловала. Первая, детская, влюбленность, солнечная, в цветах.

И вот подошла пора, и открылось в «цветах» — другое. Надо же стать мужчиной! Так говорили многие, не отец. Так намекали женщины, так манили. Это было еще в училище, в юнкерах. Это пришло дурманом. И он — обоготворил ее, первую его женщину. Это была красотка, немка. Чужая была, по языку, по крови, — совсем чужая, и что-то, напоминавшее ласку матери, было в ней. Сантиментально-нежная, она гладила его свежие юношеские щеки, проводила ресницами по его губам, ласкала глаза ресницами и щеками, отстраняла от себя за плечи, привлекала на грудь в порыве, как когда-то, когда-то . . . кто? . . И он ей отдал себя, не почувствовав в том дурного. Он тосковал по ней, вспоминал, как прекраснейшее, тот миг, когда, расставаясь, поцеловал ей руку, и потом приходил не раз . . . и мучительно ревновал, — и плакал, — когда кто-то другой был с ней. Были и другие, многие . . . — и во всех его привлекала ласка: не страсть, а нежность. Это стало уже обычным, как сон и отдых; но всегда оставалось новым, волновало всегда другое — что говорило взглядом, без отгадки, что ускользало в шопоте, в дви-

женьи, что вспоминалось будто... — и тонуло. Это он видел в каждой.

Люси его покорила властно. Случилось это... Но этого, будто, не случилось: это — одно мгновенье.

Когда знакомили их в Дворянском Собрании на балу, — в прошлом году, на масленице, — Людмила Викторовна Краколь, супруга правителя канцелярии губернатора, высокая, тонкая блондинка, казавшаяся такой скромнюшкой со стороны, вскинула, как в испуге, темными, пышными бровями, и черно-вишневые глаза ее показались в тенях огромными. И только. И Бураев почувствовал: вот, она! Он стоял перед ней немой, чего никогда с ним не было, — немой и робкий. Эта робость сладко немела в нем, заливая его восторгом. Он не видел ее лица, томного в этот вечер, — ей нездоровилось, — слабой ее улыбки, но знал, как она прекрасна. Зал казался ему дворцом, бирюзовое ее платье — небом, музыка ритурнели — славой. Она не танцевала и он остался стоять над ней. Разговор их был пуст, натянут: плохой резонанс зала, ужасно много работы мужу, в общем — она довольна, немного простудилась и кашляет; да одинок, но не замечает за работой, на войне — некогда о смерти думать, но иногда боялся, танцует мало, никогда не играл, но на спектаклях вице-губернаторши бывает, очень рад и будет непременно, непременно! Прощаясь, они уже знали все. Вставая, она взглянула, из-под бровей. Он робко ответил, сверху. И громогласный полковник Туркин, проходя в билиардную, нарочно толкнул плечом и особенным, «комариным» басом пропел-проскрипел над ухом, во-всеуслышанье:

«Что так жа-дно глядишь на доро-о-гу? . . .»

Возвращаясь домой под утро на тройке с бубенцами, после ночных блинов на 9-й версте у Прошки, про которого сложен стих, что «у Прошки утонешь в ложке . . .» — Бураев был пьян, не пив. Он схватил своего Валясика, вытянул босого на снег и тыча в небо, без единой звезды на нем, крикнул восторженно:

— Да погляди, друг . . . какая ночь!

— Лучше чайку, ваше высокоблагородие, попейте и спать полягайте . . . у меня уж и самовар скипел, — дружелюбно сказал Валясик, заблудившийся «сибиряк с Полесья», оставшийся в деньщиках с войны.

Небывалым, жданным, единственно для него рожденным чудо-цветком — цветком-женщиной представлялась она Бураеву в тот вечер. Она была и звездой, живой, и голубоватой лилией-женщиной, с черно-зеркальными глазами, в которых тайна, чарующая и влекущая, до боли, — тайна, которую он раскроет, — никто другой. Ее-то он и искал, всегда. Она не его, но она должна быть его. Высшее право женщины — распоряжаться своими чувствами. Любовь — как смерть: никаких отговорок не признает, никаких соглашений-уз, и никаких контрактов. Нельзя помешать цветку . . .

И началось то с Бураевым, что начинается с каждым полюбившим, что описано миллионы раз и никем не разгадано — до яви, что породило и будет вечно рождать поэтов, что сладко и страшно убивает.

Началось то, что называется одержимостью любовью, когда закрываются все пути, все пропадают мысли, и только одна дорога, по которой идет она, и

единственное — о н е й мечтанье. Началось ослепление: встречи и недосказанные слова, встречи, встречи... взгляды, в которых в с е, что словами не высказать, но что обнажает душу и опаляет ее до трепета. Началось с Бураевым то, перед чем все бледнеет — безразлично: и жизнь, и смерть. Началось добывание «цветка».

После двух встреч на улице, «случайных», когда и она, и он напряженно выискивали друг друга мыслью и всегда находили без ошибок, — вел их божок любви, — привлекали друг друга внешним — кокетливою шляпкой, на которой дрожит эспри, сережками в розовых ушках, от которых лицо игривей, пушистой муфтой, которая чарует тайной, укрывая лицо дô глаз, высокими башмаками серой замши, зябким движеньем плеч... свеже-выбритым бронзовым лицом, голубым шелком-шарфом, новенькими перчатками из белой замши, тонко надетою фуражкой, усами в брильянтине, чуть-чуть душистыми, стройною, ловкою походкой, отчетливыми манерами, в которых ловкость и щегольство... — после случайных встреч, когда и она, и он смущенно-счастливо восклицали — «вот, неожиданность!» — они стали встречаться в людях как можно чаще, отгадывая сердцем, где можно встретить: в салоне у вице-губернаторши Маргариты Антоновны Пружанко, где прежде редко бывал Бураев, — «уж очень тонно!» — за всенощной в соборе, на катке, уже тронутом весною, — и он, и она были страстными конькобежцами, — на лекциях наезжавших знаменитостей из Москвы, Петербурга и Одессы, на лекциях по самым животрепещущим вопросам — «Смерть в литературе»,

«Женщина, как социальный фактор», «Футуризм, как явление», что Бураев называл недавно «ковыряньем в пустопорожности», — так удачно оказывались они почти что рядом. Краколь был задавлен канцелярией и терпеть не мог праздного «болтайства», где не играли в карты. Он был чрезвычайно симпатичный, спокойный, толстый, с добрыми близорукими глазами, и отмахивался легко и нежно: «и поезжай, душечка-Люлю».

И она ездила.

Начиналась весна природы — весна в крови. Неспокойные мартовские ночи, шорох тающих в тишине снегов, вскрики пролетных птиц, проплывающих тенью в небе, легкие дуновенья с юга, оживающих звезд мерцанье, свежие голубые утра, в хрусте бессоных луж, новая жажда счастья, жадные, от весны, глаза, с томною негой ласки, — все слилось для них в желанье.

Долго прощаясь на прогулке, рука с рукой, они не могли расстаться. Молодая их кровь переплеснула, и Люси прибежала к нему — безумная. Такой он еще не знал — безумной, н о в о й. Было безумство счастья, но и ей, и ему казалось, что «настоящего» еще нет, и они истекали в страсти, ища его. Ждать, разлучаться — мука! И они забывали все. Иногда она убегала на рассвете, придумывая все, что в силах, — запоздавшие репетиции спектакля, ездили на пожар в Труханово, чуть не сломала ногу и сидела одна на улице, запоздание поездов в поездках, случайно зашла к знакомым, и так незаметно засиделась . . . Вдруг получалась телеграмма от племянницы Машеньки — «опасно заболела», и она, встревоженная до слез, уезжала в Москву курьерским, чтобы с первой же остановки воротиться

и под покровом ночи трястись на извозчике по лужам, горя от страсти. Он говорил Валясику — «а сходил бы ты, братец, в роту . . .» — и зачем-то совал полтинник. Валясик ухмылялся и уходил ночевать к девчонкам.

На Пасхе Краколь узнал, донесли подчиненные агенты.

Зайдя на «весенний бал» и узнав, что Людмила Викторовна уехала, протанцовав только па д'эспань, — «почувствовала себя ужасно дурно», — он поехал в Солдатскую Слободку, с двумя агентами. Агенты остались у калитки, а он позвонил некрепко, еще позвонил три раза, и добился. Открыл Бураев, с раскрытой грудью, высокий, сильный, и крикнул — «какого еще чорта? . .»

— Это я . . . — задыхаясь, сказал Краколь, — у вас Людмила Викторовна . . . мне известно . . . это подлость! . . Извольте . . .

Бураев узнал симпатичного Краколя, очки, кокарду. Решил «налетом»:

— По-длость? Не нахожу. Выражайтесь осторожней, хоть и с вашими сыщиками! . . — показал он к забору, где прятались под фонарем фигуры. — Людмила Викторовна . . . да, здесь. И здесь останется. Это ее пра-во! Поняли? . .

— Позвольте . . . — растерянно зашептал Краколь, — это моя жена! и она должна . . . Я завтра же . . .

— Пришлете за ней полицию — выгоню, — твердо сказал Бурсев, следя за рукой Краколя. — Пришлете кого-нибудь д р у г о г о, постараюсь удовлетворить.

«И хочет, и боится», — подумал он, следя за рукой Краколя, которая ерзала в кармане.

— Я должен убедиться... это насилие!.. — шопотом говорил Краколь, отодвигаясь и ерзая в кармане, — я требую!..

— Насилия не вижу... шляпка ее на подзеркальнике... Н-нет, с-тойте!.. — схватил Бураев Краколя за руку «приемом» и сразу обезвредил: револьвер стукнул о порожек. — Знаю, что вы поляк, но это... несколько преждевременно. Не шевелитесь, переломлю!.. — крикнул Бураев в бешенстве, следя за фигурами в заборе, которые только наблюдали. — Помог не испортить вам карьеры... идите — и не возвращайтесь!

Он столкнул с порожка ошеломленного всем Краколя, взял его револьвер и с грохотом наложил запор.

— Что ты наделал?!.. — вскрикнула в ужасе Люси, кидаясь ему на шею, когда он вошел в освещенную розовой лампой комнатку.

Она была в бальном воздушном платье, едва застегнутом. С револьвером в руке, он крепко обнял ее одной рукою, поцеловал в душистую ямку разстегнутого лифа и, смеясь на отнятый револьвер, сказал:

— Завоевал мою трепетную... жену! — и крепко прижал к себе. — Довольно, больше не будет лжи... к чорту, развязалось!

И, не отпуская ее, положил револьвер на полку.

— Третий, к коллекции... японский, омский, польский! И все — хотели. Ты... плачешь?!.. Что это значит, Люси?..

— Боже, что ты наделал!.. — повторяла она, в слезах, оправляя свою прическу. — Ты погляди, в чем я... ни белья, ни платьев... ведь все же там! Как же я теперь... все там!.. Голая, в бриллиантах!..

— показала она обнаженные руки, в бриллиантах, смеясь и плача. — Все там, все там . . . — повторяла она растерянно.

— Все там? . . — повторил медленно Бураев. — Не знал . . . не предполагал, что у тебя все — там! Я не держу насильно . . . хочешь туда . . . сейчас приведу извозчика? . .

И увидав раскрывшиеся ее глаза, он упал перед нею на колени и прижался.

— Не обижай меня, милый . . . Стефик . . . — шептала она, прижимаясь к нему коленями, — я не могу . . . так сразу . . . все порвано, нельзя показать глаз . . . Ни платья . . . и мое ожерелье там, и все подарки . . . ничего не отдаст! Ведь совсем голая я! . .

Бураев пришел в себя, и решенное вдруг, «налетом», показалось теперь серьезным. В этом воздушном платье без рукавов, впорхнувшая к нему с бала, в пустую его квартирку — две комнаты с каморкой, где стучит сапожищами Валясик, Люси показалась ему — виденьем. Сейчас исчезнет! Она . . . будет жить здесь? . . она?! . . Фу, чорт возьми! . . Казалось невозможным. И, как это бывает часто, когда в запутанном до трагизма вдруг прорывается смешное, насмешливо прозвучало в мыслях:

Вот теперь я понима-а-ю,
Что я пра-пора жена-жена-жена! . .

А она стояла растерянно, оправляя измявшиеся складки, крутя браслеты.

«Голая, в бриллиантах . . .»

— Люси! . .

— Мой . . . Стеф! . .

Все пропало в блаженствах ночи.

Но понемногу наладилось.

В городе был скандал, но к подобным скандалам попривыкли. Дуэли, понятно, не было: Краколь дорожил карьерой, и, будто бы, было не впервые . . . а Бураев считался первым стрелком в дивизии. И губернатор был человек разумный. Седенький и сухой, он набросился на правителя, как ястреб:

— Зачем до скандала довели?! Мало вам «вятской истории»? Умеют люди устраиваться, почему же? . . Я-то тут причем, докладываете . . . спрашиваете совета! Уверен, что жандармский уж настрочил. С Гейнике говорить бесполезно . . . столб! Отношения с гарнизоном у нас в-вот! — ткнул губернатор сухим кулачком в ладонь. — После сражения в публичном доме, когда солдатня стражника убила и гнала чуть ли не полицмейстера до собора . . . нам же и влетело от министра! Со штабом округа я не могу и не хочу возиться . . . и у полковника т а м друзья, в сферах, с меня довольно. Советую вам, милый Владислав Феликсович, оставить все . . . это ваше дело, развод там . . . и я посодействую переводу . . . здесь вам оставаться неудобно. Я сочувствую, жалею прелестную Людмилу Викторовну, но . . . еще Шекспир сказал: «женщину может понять только она сама!» Да и она сама-то, прибавлю я, себя понимать не хочет. Грустно, но! . .

С командиром полка разговор был такой:

— А-а . . . а! — покачал седой стриженой головой полковник Гейнике, настояще русский, с бородой и огненными глазами раскольника с Заволжья, ученик Дра-

гомирова и доблестный офицер, — в юбке запутался, молодец? Чего там — вспыхивать ... «это многих славных путь!» Мало вам вольных баб? .. — пустил Гейнике некую остротцу, подражая учителю, — кажется, обеспечены ... вниманием начальства! батальон вам надо? .. А-а ... а! Отцу напишу, мало порол. А улыбаться нечего-с, стойте смирно, когда вас распекают, бо-е-вых капитанов, пу-таников! По-моему, все глупо, но ... семейные дела, порочащего честь мундира не вижу. Демонстрировать «победу» не будешь, а там хоть на голове с ней ходи. Аминь. Отцу пока не пиши, не советую. Александра Порфирьевна спрашивала про тебя, вечерком зайди. Посоветует в семейном деле. Па-рень, не обожгись! — погрозил полковник. — Кругом, марш!

— Слушаю, г. полковник! — вытянулся Бураев, делая «кругом, марш».

Хотелось обнять «Бушуя», как его звали все: полковник напоминал отца — простецкой душой и «буйством», и даже голосом, — они были с отцом товарищи.

Постепенно наладилось, кстати и лето подходило. Сняли половину избы под лагерями, тронули «капитал», две тысячи, сбережение от войны, резерв для ожидавшейся академии, — о ней все подумывал Бураев, давно работал. Можно было продать и бриллианты, надетые на «весенний бал», но до этого доходить не надо: с ними связано слишком много. Люси так чудесно говорила: «взял меня голенькую совсем, но в бриллиантах». Он хватал ее на колени, впивался в ее глаза, что-то с в о е хранящие, всматривался в мохнатки-брови, бархатные-атласные, в эту «прикрышку тайны», сладко его драз-

нившую, полонившую так отметку красавицы-блондинки, и, сжимая сильней, до писка, шептал-ласкался:

— Кто тебя выдумал?.. Откуда, Люси... такая?! Голенький бриллиантик мой...

Млея под его ласками, она всматривалась в него туманно-томно, и в ее черных «вишнях» вспыхивали гранатцем искры. Он расстегивал осторожно ее лифчик, и она приникала скромно. Он приходил в восторг, становился перед нею на колени и говорил моляще:

— О, святая моя, Люси моя... чистая моя! Увидишь, я стану тебя достоин, ты увидишь...

Она запускала тонкие, в кольцах, пальцы в его густые черные волосы, сжимала до боли крепко, вдыхала их.

— Ты на римлянина похож, мой Стеф... как молодой патриций! И подбородок такой, упрямый... — она целовала-кусала подбородок, — и нос с горбинкой, такой гордяшка, только глаза — сапфиры! Такие бы мне глаза... покорила бы целый свет!..

— Мало тебе, что покорила меня... зачем?

— Зачем... — мечтательно спрашивала она таившееся в ней что-то, прелестно-женственное, — казалось ему всегда, — что хотелось ему открыть, что было в красотке немке, впервые познанной женщине, что таилось во всех других, что почувствовал он в цветах когда-то, в сладких ласканьях мамы. У Каролины, немки, было в косящем взгляде, чуть-чуть насмешливом; у белошвейки Любы — в блуждающей улыбке, грустной... во всем — у мамы; в странных бровях-мохнатках, в этих полосках меха, дразнящих чем-то, — его Люси.

— Зачем? . . — повторяла она загадочно, и тонкая, беглая улыбка, открывавшая синеватые зубы — жемчуг, проникала в него тревогой. — Царить над всеми . . . все иметь, все . . . полная-полная свобода, куда захочешь . . . Завела бы автомобиль, поехала бы в Италию зимой, в трескучие морозы . . . ах, да разве можно все высказать! . .

Это его смущало. На его жалованье можно только иметь вот это — половину избы, ситцевые капотики, батистовую рубашку с кружевцами, башмаки от «сапожника з Воршавы», Валясика-кухарку, «киношку» за полтинник, где предлагаются все соблазны, как раздражающая любовь . . . во сне. Но — потерпеть немного, академия даст движение, получишь полк . . . и Люси, чудная, в коляске, тысячи глаз на ней . . . проехать в Петровском Парке . . . чудесная квартира, пройтись по фойэ в Большом Императорском Театре, как Клэ недавно . . . — вспомнил он встречу с Клэ, — через десять, например, лет, возможно. Люси двадцать четыре года, совсем будет молодая командирша, царица-командирша! . .

— Ах, Люси . . . все для тебя, все дам! — восторженно говорил Бураев. — Переждать немножко, академию кончу . . . клянусь тебе, положение завоюю . . . планов у меня много, вот увидишь. По характеру я не карьерист, но работу люблю . . . и безумно люблю тебя! О, для тебя, Люси . . . На двух языках я говорю свободно, это я сам добился. Можно получить командировку заграницу, попасть и военным представителем . . . Да, Люси . . . я еще не сказал тебе: все может измениться. Отец хлопочет получить огромное наследство . . . оно сейчас

у казны в опеке, большие имения в Полтавской, предков по матери, запорожского рода Бич. Какие-то есть возможности, хлопочут в Петербурге, в герольдии, ищут какие-то грамоты... Мы получим тогда к нашей фамилии «приставку» — Бич, с соизволения Государя, и чуть ли не герцогство, по размерам!

Бураев мало об этом думал, но теперь стал мечтать и верить.

— И герб, конечно?

— Герб у нас есть, старинный, — башня, увенчанная короной, и над ней крест с мечами. А у Бичей, говорил отец, — синяя полоса по зеленому полю, а над ней красные челны с серебряными парусами, а выше — звезды. Это — старое наше Запорожье, Днепр. Ах, Люси... голенький бриллиантик мой!..

— Если бы... — мечтала Люси, ласкаясь. — Но какой же ты нежный, Стеф... вот никогда не думала!..

— Что ты не думала?

— Не думала никогда, что военные, так нежно... Они такие... казались всегда малоразвитыми, кого встречала... всегда с солдатней, муштровка, ругань... и все у нас так относятся, в нашем кругу... Папа был профессором, ты знаешь... я выросла в очень интеллигентном кругу, и у нас всегда как-то пренебрежительно отзывались о военных. Мама Герцену как-то доводилась, уж не помню. А Михайловский даже за ней ухаживал, но он, кажется, за многими ухаживал, такой «любяка». И вот, вдруг ты... вот никогда не думала!.. — говорила она наивно-мило. — Из гвардии

встречались, но те из высшей аристократии...

Бураева кольнуло.

— А меня за кого считаешь?

— Как ты смеешь так говорить! — хлопнула она по его губам ладошкой. — Я же знаю...

— Твои «интеллигенты» слишком... узки и близоруки! — с раздражением сказал он. — Я прекрасно знаю, как смотрят на нас твои «интеллигенты»! И умнейшие из них даже, вон Короленко даже. Вылито много грязи на нас, на армию! Пусть Короленко на своих внимательней посмотрит, какие фрукты встречаются. Эти «фрукты» везде встречаются, в каждом классе... С 905-го нас особенно поливают грязью, за то, что... спасли Россию от их экспериментов! Да, мы. Я был в Сибири, был потом и в Прибалтике, с Меллер-Закомельским, видал и усмирял. Вон у меня, омский «трофей» висит, и им и рука прострелена... Не хотят понять твои интеллигенты, что мы — те же русские люди, только особой складки, да, особой! Я говорю не об «отбывающих»... этих господ универсантов повидал, как они «отбывают»... и в прапорщики готовил. Воображают, что это — принудительная и глупая игра, и надо скорей «отбыть»... Забывают, что мы для страшного дня, для отдачи себя за... все! Ты сильно ошибаешься, Люси... У нас много идеалистов, романтиков... удивительные есть люди, каких не найдешь среди и твоих «интеллигентов». Молодые особенно. Да, наша жизнь груба... и тем удивительнее, что есть, и много. Все наше, военщина-то, как зовут нас презрительно, — меднолобыми нас зовут, «скалозубами», «пришибеевыми» разными... это же вне жизни!

Жизнь — норма, а мы — вне нормы, около жизни где-то... около смерти мы. Но смерть мы предполагаем, как нечто... даже прекрасное. Ну, сквозь поэтическую дымку, сквозь особенную поэзию, как у Пушкина — «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю»... Мы — особенные профессионалы, внежизненные, гладиаторы рокового срока. Мы — всегда готовы, и самые благородные традиции, свято хранимые традиции — наши, военные. Теперь многим они смешны, потому что война уже не укладывается в текущие нормы жизни. Но все, что осталось в человечестве рыцарственного, — великодушие, самопожертвование, преклонение перед цветком мира — перед прекрасной женщиной... о, Люси моя, женщина... голенький бриллиантик мой!... — перед геройством отдачи себя за родину, которая обнимает все, даже твоих «интеллигентов», эта готовность к смерти, уважение к благородному врагу... эта воля, которая — вот, вот здесь, — сжал он кулак, — когда ты идешь на смерть и говоришь себе — ты должен! — это мы. Вот почему, мы, «меднолобые» и «скалозубы», так дорожим честью. К смерти всегда готов — будь чист. На Суд, ведь, идешь. С нами всегда ножи — сразу все отмахнуть, чем связан с жизнью, самое дорогое даже. Потому-то мы и грубоваты на первый взгляд, спартанцы. И потому, может быть, часто очень наивны и непосредственны. Вот поручик Шелеметов мой, или наш милый чудак капитан Зальцо, большой философ, да много... оригиналы, и все — сами. Все какие-то сами! В обществе, у «шпаков», как у нас говорят, большинство — самые обыкновенные, все друг дружку напоминают... исключая, понятно, боль-

шие таланты... А у нас — удивительнейший подбор! Много, в душе, поэтов, мечтателей. Карьеристы — и те с «гвоздиком» в голове. Такие подбираются. А знаменитости... Толстой — наш, от нас. Державин, Лермонтов, Гаршин — солдаты, Римский-Корсаков... Пушкин — наш весь, в песнях своих, всей душой своей! Наше дело — самое страшное из искусств. Игра со смертью... только не на стишках, не в кабинете, а в чистом поле! Перекрестясь, за великое, что вне нас и — в нас! Революционеров понимают, чтут, героями считают, а мы — солдатчина, «медноло-бые»!.. Мы — профессионалы самоотвержения и долга, и будущее за нас! А не за нас — никакого будущего не будет, а так, болото!..

Она смотрела, как играли его «сапфиры», в которых светилась грусть, и, нежно приблизив губы, тихо поцеловала в лоб.

— А верно тебя прозвали — «синеокий миф». Ты какой-то особенный, Стеф. В глазах у тебя и мечта, и грусть... о чем? Почему — «миф»?..

— Ну какой там... А как ты из профессорского-то круга — и за Краколя?

— Ничего странного. Ходил к нам еще студентом, любимый ученик папы. Когда папа умер, остались без средств, семья... он и подвернулся, со средствами, впереди карьера. Ему тридцать семь лет, через год — вице. Будущий губернатор...

— Плохой будет губернатор. Не жалеешь, что губернаторствовать не будешь?

— Разве это уж так высоко!..

— Ого... «не хочу быть столбовой дворянкой...»?

— ...а хочу быть... пол-ко-вою командиршей! — пропела Люси с усмешкой.

— Может и кор-пу-сихой будешь! — ответил он тоже насмешливо.

Но эти зацепки не машали.

Как-то пришла открытка из Монако, от племянницы Машеньки, с пальмами и дворцом над морем. Машенька писала, что уезжает в Альпы, в сентябре будет в Биаррице, а к ноябрю в Москве, и ждет ее непременно с ее «синеоким мифом». «Вчера были с Р. — неожиданно встретились с ним в Ницце! — в рулетке, и в каких-нибудь пять минут выиграла 8 тыс. фр., посылаю тебе тысченку на булавки».

Открытка всполошила. Люси ходила по садику, где босой и распоясанный Валясик невесело поливал цветочки, и взволновано думала, какая счастлюха Машка, катается, где хочет. «А у меня один и один «пейзаж», на этого дурака смотреть, с «твиточками». Кто же это Р.? Ромб, банкирец... или тот знаменитый Ростковский, который ко мне «неравнодушен», как она болтала? Интересно...»

— Пойти самовар согреть! — сказал цветочкам Валясик, — барин сейчас придут.

Бураев пришел со стрельбища, потный, пыльный, схватил кувшин с молоком и принялся жадно пить.

— Семьдесят шесть, брат, процентов попаданий, стреляли ротой! — сообщил он Валясику. — Барыня где?

— В зыбке себе качаются, за избой, ваше высокоблагородие. Подать помыться?

Бураев нашел Люси в сосенках, в гамаке: смотрела в небо. На батистовой ее блузке лежала пестренькая открытка из Монако.

— Семьдесят шесть процентов ... — начал он говорить и заметил на ее ресницах слезы. — Что с тобой ... плакала?

— Машка меня расстроила ... А сколько это, тысяча франков?

— Можно? — взял Бураев открытку и прочитал. — Мм ... тысяча франков? Четыреста без чего-то ... Какие пустяки могут тебя расстраивать! Придет время, и мы прокатимся. Понимаешь, какой успех ... стреляла моя рота, семьдесят семь процентов почти, попаданий! Важно для аттестации ...

Она лежала, закрыв глаза.

Вернулись из лагерей в милый особнячок в саду, в тихом зеленом переулочке, у церковки, с чудеснейшим видом на Заречье. Жизнь показалась интересней. Устроили «салончик», купили трюмо по случаю, и 16 сентября отпраздновали именины с новосельем, в тесном кругу друзей. Не было дам, зато неожиданно приехал сам командир полка — на кулебяку и рюмку водки, во всем параде и с белым крестиком. Люси была тронута вниманьем, была прекрасна в голубом шелковом капоте-платье, присланном из Парижа Машенькой, и решительно всех пленила. Вечером с почты принесли корзинку, и в ней оказался роскошный букет — из Биаррица! — с визитной карточкой, на которой было начертано собственноручно: «с почтительным поклоном», A. Rostkovsky. Люси спрятала карточку, приятно смущенная таким неожиданным вниманием.

Муж не давал развода. Он перевелся, кажется, в Смоленск, и были слухи, что к Рождеству обещают ему губернию, что открылись такие связи, каких и во сне не снилось: годика через два — поверить трудно, но говорят, — и директора департамента получит! Сообщала из Петербурга двоюродная тетка, вдова сенатора, и заканчивала письмо советом: «Он тебя обожает попрежнему, советую написать ему и решить окончательно, чтобы покончить с этим двусмысленным положением: вернуться к нему. Развода он сам начинать не хочет, придется начать тебе».

— И начнем! — сказал Бураев решительно: надоела ему неопределенность, оскорбляли условности.

Изолированность Люси от общества, колкие иногда намеки знакомых дам, брошенные с улыбочкой, двойственность его жизни, — все это раздражало, вносило в их отношения раздоры и неприятную неустойчивость, облекало их связь порочностью. Приходилось скрывать, как грех, счастье семейной жизни: ни то, ни се. Потому-то и нервничает Люси... вполне естественно. И Бураев решил начать. Побывал у адвоката, и в консистории. Адвокат ручался, самое позднее, сделать в год, что потребует тысяч пять. Секретарь консистории, старый бобер в очках, намекнул на большие осложнения, на возможные уклонения и контраверзы со стороны Краколя, одного из каверзнейших людей на свете, — «уж мне-то да не знать, помилуйте-с!» — и высчитывал «на духовную расчистку только» тысченок за пять. Предлагался и легкий выход, тысячи в три, не больше, без всякого развода, «обвенчаем за полчаса-с», — только нельзя оставаться в городе, и возможен всег-

да скандал. Не говоря уже о скандале, Бураев не мог решиться оставить полк.

— Ужасно, когда нет денег! — вырвалось у Люси укором. — Какие-то пять тысяч... — и свобода!

Бураев винил себя: иметь такую жену-красавицу, обещать ей всего себя, — и какие-то там пять тысяч, которых нет!..

Как-то Люси сказала:

— Я знаю, что Машенька поможет, и никаких почти денег не потребуется. А вот. Знаменитый Ростковский приятель ее мужа. У него огромные связи в Петербурге, он разводил Истоминых. Ты, конечно, не знаешь, а дело было ужасно скандальное, даже до Государя доходили. И развел что-то в три месяца.

— Твой Ростковский хапун известный.

Люси загадочно улыбнулась.

— Он сделает это даром, для... Машеньки.

— Тьфу! — не сдержался Бураев, плюнул. — Сколько же всяких гадов, грязи!.. Вот никогда-то не думал, что...

— Если неприятно, я не настаиваю. Будем терпеть... сказала Люси особым тоном, который взрывал Бураева.

— Да, да, да!.. — крикнул, взрываясь он, — мы проклинаем тот час, когда... Я понимаю! я все понимаю!.. Есть женщины, для которых любовь — только пикантная приправка к...

К че-му?..

— К золотому!.. — вырвалось у него такое, что он убежал из дома и не встречался с Люси два дня.

То, что вырвалось у него, была такая «солдатчина», такая грубость . . . Он горел от стыда даже перед самим собой: «что она теперь думает обо мне?!

Но она тонко «не поняла». Она сама подошла к нему, обняла его голову, нежно поцеловала и шепнула:

— Не сердись, Стеф. Поверь, я не поняла даже, что ты сказал . . . Но за что ты меня обидел? . .

Он упал перед нею на колени и зарыдал, чего уж она никак не ожидала от солдата.

— Я обидел тебя, Люси моя . . . я оскорбил тебя! Если бы знала ты, как я страдаю! . .

И он бешено стал целовать ей ноги.

Об адвокате Ростковском Люси сказала уверено: она знала, что для нее он сделает.

Один только раз видала она его в Москве, до знакомства с Бураевым, у Машеньки. Он не отходил от нее весь вечер, сыпал остротами, был в ударе, и она знала, что это она зажигает его огнем. Он проводил ее на вокзал, поцеловал как-то по особенному руку, вскоре ей написал, «по совету Машеньки», о незабываемом впечатлении, какое произвела на него «тетушка», и в заключение дерзко себе позволил «питать надежду, что потрясшая его встреча повторится». Она — в эти дни встретился с ней Бураев, — не обратила никак внимания. Но недавно опять случилось, и это ее затронуло: на обороте визитной карточки при букете, стояло тонко карандашом, «секретно», — определила Люси: «увидать Вас — счастье». Эти вороватые буковки, на обороте карточки, на краю, показались Люси смешными и . . . робкими, и она стала об этом думать. Она иногда мечтала . . . И казалось вполне возможным, что знаме-

нитый, — и интересный, — случайный ее поклонник, за которым установилось прозвище — «неотражаемый», речи которого печатались в газетах, который брал головокружительные гонорары и расшвыривал деньги не считая, устроит развод недорого и скоро. Мечталось и другое. Как-то она спросила:

— Стеф, ты мог бы перевестись в Москву?

— Зачем?!..

— Там нас никто не знает... и новый круг. И для тебя, по службе... все-таки видней!..

— Это трудно. И с полком расставаться, тяжело. Ты не можешь понять, чтó для офицера его часть, в которую он впервые вступил. Расстаться с ротой — для меня нелегко. И потом, надо иметь и связи, и... мотивы. И для чего, собственно?..

— А для меня?..

— Если уж так необходимо... для тебя я, конечно, могу сделать, но... Не успел теперь, а в будущем сентябре поеду держать в академию, надеюсь попасть. Тогда переедем в Петербург. Зачем же из-за какого-то года...

— Да, конечно...

В октябре судили Малечкину по обвинению в отравлении мужа, бухгалтера казначейства. Этого процесса давно ждали, из-за пикантных подробностей. Писали о нем и московские газеты. Должен был защищать местный присяжный поверенный Андреев, но совсем накануне суда из московских газет узнали, что главную защиту Малечкиной взял на себя присяжный поверенный А. Н. Ростковский при участии Андреева, из местных. Первой узнала об этом Люси, от Машеньки.

Машенька сообщала, что — «вдруг совершенно неожиданно объявил, что это захватывающий процесс, что здесь дело идет о женской душе, о самом интимном в жизни, что, помимо сложного психологического элемента в этом деле, у него есть «личные побуждения к о-г о - т о видеть...» Ты, Люсик, понимаешь? Просил меня непременно дать поручение к тебе. Ну, что я с таким сумасшедшим сделаю! Он, буквально, выкрал на днях твой портрет из альбома и стал бешено целовать, при мне! Какими-то спазмами у него... Когда мы встретили его в Монако, он засыпал меня расспросами о тебе, и это каждый день. Ты увидишь, он похудел и стал еще интересней. С балериной своей разъехался... Я прямо ему сказала, что ты безумно любишь твоего вояку, он загрустил, взъерошил волосы и сказал только — «ну, что ж... но благоговеть-то мне не может помешать ничто на свете!» Он, прямо, одержимый. Смотри, Люсик!»

Процесс тянулся два дня, и вся городская знать терпеливо высиживала в зале. Для Люси достали почетный билет, даже прислали на квартиру в пакете за печатью, и она поняла, что это, конечно, о н. В сереньком скромном платье, — тоже подарок Машеньки, — она сидела в первом ряду налево, близ пюпитра защитников. Всех поразило и заинтриговало, когда появившийся в зале за пюпитром знаменитый Ростковский, блистая крахмальной грудью и отменным фраком, высокий, в пенсне, с небрежно взбитым хохлом с намекающей проседью, зорко окинул публику, вскинул красиво голову, быстро пошел к Люси и почтительно поздоровался, поцеловав ей руку. И отошел сейчас же.

Это ее очень взволновало, и она долго старалась заставить себя понять, что происходит в зале. Ростковский держался с большим достоинством, и строгий председатель как-то особенно учтиво обращался к нему: «господин защитник? . .» Все, что спрашивал г. защитник, казалось Люси и нужным, и очень умным. Даже в наклоне головы и в тонкой, бледной руке защитника, игравшей золотым карандашиком, чувствовались и ум, и воля. «Неужели не победит?» — спрашивала себя Люси, разглядывая строгие лица заседателей, которым разъясняли: что Малечкина — страшное чудовище, развратная из развратных, медленно отравлявшая честнейшего и скромнейшего человека, мужа, и отца четверых детей, достойнейшего бухгалтера и примернейшего чиновника-служаку; и что, с другой стороны, несчастная женщина Малечкина — невиннейшая жертва, примерная мать, любящая и покорная жена, жаждавшая единственно одного, присущего каждой достойной женщине... внимания, понимания, при-знания... со стороны мужчины; что несчастнейшая Малечкина, когда-то первая из красавиц города, не смела купить детям даже несчастной карамельки, как самая последняя из рабынь; что отравлявшийся спиртом алкоголик и губернский секретарь Малечкин бил ее сапогом по темени и по чреву, носившему его четверых детей, в результате чего она принесла убийце-мужу пятого ребенка — мертвого!

Люси ожидала после первого дня суда, что Ростковский явится к ним с визитом и с поручением, и даже приоделась, но он не появился. На другой день он опять подошел к ней здороваться и сказал озабочен-

но, что, если процесс закончится не слишком поздно, он позволит себе на минутку заехать — передать поручение от Марии Евгеньевны, и уедет в Москву курьерским, так как завтра в Палате ответственное дело. И Люси беспокоилась, как бы процесс не затянулся. К счастью, процесс не затянулся. Прокурор говорил недолго, напоминая факты, и заклинал присяжных «возмерить мерою» во имя тени несчастного, которую не постеснялись пятнать и здесь. Потом говорил Андреев, соответственно подбирая факты, и предоставил глубокочтимому своему собрату «вскрыть и показать ощутимо приглядевшимся ко всему глазам тончайшую ткань женской душевной жизни, так жестоко изломанной!» И Люси даже задохнулась, когда знаменитый защитник как-то грустно поднялся, опустив голову, медленно провел в воздухе карандашиком, словно хотел начертать — ? — и измученным голосом, в котором услышали страдание, как бы спрашивая себя, сказал: «Да где же правда? .. Гг. присяжные заседатели . . .»

И чем дальше он говорил, сильней становился его голос, сочней звучал по залу. И когда говорил о женщине и ее душе, и когда говорил о ее любви, и о любви к ней, о таинственнейшем цветке, который рождается, чтобы видеть солнце, но часто топчется сапогом, так и не распустившись, и тут же привел строфу из любимого современного поэта, — поглядел в сторону Люси, следившей за ним в восторге. Говорил о несбывшемся, о загубленной жизни женской, о детях, лишенных матери . . . — в это время в зале неожиданно прозвенел призывающий детский голосок — «ма-ма!» —

все вздрогнули, председатель воскликнул — «кто мог допустить ребенка?!» — а г-жа Малечкина, в гороховом халате и беленьком платочке, истерически вскрикнула, — говорил уже грозным голосом о страшной и священной ответственности нашей перед ни в чем неповинными детьми, раздирающий крик которых — «мама!» — этот вечный, призывный крик, — вот она, самая святая правда! «Детям отдайте мать! не казните детей неправдой!..» — кончил знаменитый защитник с рыданьем в крике.

Говорили потом не раз, что это была лучшая речь Ростковского, за которую он не взял ни гроша.

Оправдательный приговор встречен был бурей аплодисментов и вскриками нервных дам. Председатель сделал предупреждение и когда объявил, что г-жа Малечкина свободна, а стража должна уйти, буря аплодисментов повторилась, и Люси, сквозь слезы увидала перед собой снежную грудь Ростковского, который сказал учтиво, что «с вашего позволения заеду передать поручение». Он поклонился низко и тут же затерялся в обступившей его толпе шумливых барынь и барышень, что-то ему жужжавших. Потом Люси увидала на подъезде, как группа гимназисток кидала в защитника цветами, а семинаристы и гимназисты на возрасте стояли с букетом роз и спрашивали курьера, через какие двери выйдет г-жа Малечкина.

Дома Люси переоделась в скромное голубое платье, которое к ней так шло, и приказала Валясику приготовить к чаю. Бураев был на дежурстве, — пожалуй это лучше, — думала Люси, волнуясь. «Почему так волнуюсь, странно», — спрашивала она, следя за собой в

трюмо, — «странно, будто робею даже...» И она, действительно, робела, даже сводило пальцы. Подходила к окну и слушала. «Знает ли адрес... нас нелегко найти...» — вслушивалась она сквозь дождь. — Глупое положение, волнуюсь... что он подумает...» Она подошла к трюмо, выправила мохнатки-брови и сделала томное лицо. «Бледна ужасно», — подумала она с гримаской и услыхала, как стукнула калитка.

— Кто-то к нам, Валясик... отоприте!.. — крикнула она словно не своим голосом, и увидала в трюмо блестевшие глаза и чуть розовеющие щеки.

Но вышло совсем нестрашно.

Аполлинарий Николаевич, как старый знакомый, легко и просто поцеловал руку Людмилы Викторовны, выразив тут же сожаление, что должен сейчас бежать; извинился, что, по дурацкой рассеяности, не догадался еще вчера послать гостинцы, порученные ему Марьей Евгеньевной, — «простите великодушно, за этими делами поесть забываю даже!» — отшутился на похвалу его «вдохновенной речи», — «не балуйте меня, я знаю, что был до скандала слаб!»

— Говорил... а думал о чем-то, совсем другом! — выразительно сказал он и смущенно отвел глаза.

Передал непременное желание Марьи Евгеньевны видеть милую тетушку, — «уди-вительно к вам идет!» — восторженно засмеялся он, — и на этих же днях, вместе со... «Степаном Андреевичем, если не ошибаюсь?» — положил в рассеяности крупную свою руку на хрупкую ручку Людмилы Викторовны, лежавшую на локотничке диванчика, и извинился; стремительно поднялся, когда Валясик, стуча сапогами, вно-

сил в салончик поднос со стаканом чая, и, взглянув на часы, пришел в непомерный ужас, что через двадцать минут курьерский, а надо еще в два места... ловко накинул какое-то необыкновенно оригинальное пальто с капюшоном и лапками, неуклюже поданное Валясиком низом кверху, и, мотая широкой шляпой, откланялся, не поцеловав даже на прощанье ручку. Вспомнил в дверях — «простите, письмо от Марьи Евгеньевны!» — и вручил синеватый пакет с коронкой. Люси слышала, как он побежал к калитке, а Валясик вдогонку крикнул: «покорнейше благодарим, господин!»

Люси была разочарована визитом, таким стремительным и безразличным. Ей стало стыдно, что она вообразила что-то, за глупую свою робость — как девчонка! Стараясь подавить «обиду», она призналась перед собой, что Ростковский загадочен и интересен, вспоминала его глаза, грустные нотки в голосе, «думал о чем-то совсем другом»... «Личные побуждения кого-то видеть»! — писала Машенька. Приехать сюда нарочно, ночевать в грязных номерах, потерять столько времени... «но благоговеть-то, я думаю, мне не помешает ничто на свете», — целовать фотографию... — и такой удивительный визит, меньше пяти минут!..

— Чего тебе? — спросила она топтавшегося в дверях Валясика.

— Да что, барыня... — осклабился, крутя головой, денщик, — как бы чего не вышло?.. Четвертной билет дал, тот барин... прошибся, может?.. Как бы чего не вышло.. может догнать лучше?..

Люси замахала весело:

— Ничего, он богатый и... очень добрый. Это тебе на-чай.

— Да уж больно чудно... чисто папироску дали!

В письме от Машеньки было семьсот рублей — «на беличью шубейку, твою мечту, будешь совсем как белочка!» «Р. совсем потерял голову, увидишь». Люси тут же разорвала письмо. Потерял голову! И увидала золотой мундштучек на столике. Ей стало скучно. Мундштучек она спрятала и до глубокой ночи думала об одном — о н е м.

На другой день, когда Бураев пришел с дежурства, она встретила его радостно — «ура! Машура... семьсот на шубку... сколько конфект, гляди!» Конфекты были любимые — пьяные вишни, от Альберта.

— Посидел пять минут, какой-то странный, даже от чаю отказался. Валясику дал четвертной на-чай! Слышал... оправдали Малечкину!

— Помогают разврату болтуны... проститутке букет подносят! Чертовски угорел... Да ... долго ты будешь жить подачками? Мне это неприятно.

— Это не подачки, а отдачки. Когда я была богата, я много ей дарила. Теперь она богачка, и...

— Содержанка.

— Такая же, как и я! Ушла от мужа и... пришла к другому.

Бураев пристально посмотрел — и вышел. А через три недели, когда навалило снегу, предстала Люси, в шубейке. Она опустилась перед ним серенькой белочкой, розовой, кроткой и пушистой, заглянула в глаза пытливо и, положив на колени белокурую милую го-

ловку, попросила: «поедем за город, в монастырь!» Он страстно схватил ее, долго носил по комнатам, целуя и лаская, и они покатили с бубенцами, пили чай в номере с лежанкой, с архимандритами на стенах и белыми полами, и беспредельно-грешной была их любовь в обители. А возвращались под звездами, в морозце. Пели звучно колокольца-бубенчики, а в широких санях, на сене, кутая его белочкой, спрашивала Люси шептаньем:

— Мой? . .

— Твой, весь твой, белочка моя . . . а ты? . .

— О, Стеф! . .

Старый полковник выслал просимые на беличью шубейку, — ему писалось: «расплатиться со старыми долгами, — последние триста пятьдесят, и Люси утянула Стефа в Москву проветрится.

Позавтракали в Праге, где теперь, по словам Люси, — самые сливки общества. Но они никого не знали. Побывали у Машеньки, на Малой Спиридоновке, во дворце. Бураева все ошеломляло: широкая, как в соборе, лестница, в коврах, зеркалах и мраморе, тонно скользившие лакеи, которых он принимал за адвокатов, картинная геллерея с зимним садом, высокий концертный зал, салоны, будуары, столовая, как святилище с органом — дубовым буфетом во всю стену, обитая вся сукном читальня . . . Народу была масса, но Люси чувствовала себя непринужденно. Молодые поэты, с примасленными головками, выпевали свои стихи, картавя, все, как один, «истощенные разными страстями», — шепнула интимно Машенька, — все в узких брючках, в узких фрачках и галстучках. «Вот это шту-чки, но-

вое поколение мужчин», — презрительно наблюдал Бураев, — «морфинисты, кокаинисты и, конечно . . . «взаимная любовь». Ему, простаку, казалось, что они, просто, шутят, читая такие глупости, в которых не доберешься смысла, и так распевают и гнусавят — для смеху больше. Один был в лоскутной кофте, с вымазанным лицом, — словно из цирка клоун, — но Машенька шепнула, что это знаменитость, первый из футуристов, расхваленный Максимом Горьким. Он вышел на эстраду и выпевал что-то, напоминающее дырр и пырр, и Бураеву стало стыдно. Но все почему-то хлопали. Банкир Джугунчжи, похожий на выбритого кота, Машенькин покровитель, одобрительно хлопал всем, а поэты откланивались ему особенно. Бураев удивился: да что такое! понять ничего нельзя! Ну, прямо, Пушкины! Наконец, вышел в бархатной куртке, с галстухом во всю грудь, «настоящий поэт», — шепнула интимно Машенька, казавшаяся Бураеву прелестной и, кажется, доступной, — и прочитал такое, что лакеи прикрыли рты. Но Джугунчжи похлопал — и все захлопали. Бураев запомнил только —

Как бык на случный пункт весной . . .

«Ну, если это сливки интеллигенции, дело плохо!» — подумал он и вспомнил своих солдат, показавшихся ему теперь святыми.

Машенька познакомила его с «нашим Демосфеном», с присяжным поверенным Ростковским. Бураев не знал, о чем они будут говорить. Но Ростковский заговорил об армии, к которой и сам отчасти принадлежит, как прапорщик запаса, нашлись даже общие знакомые. Поговорил о командующем округа, у которого иногда бы-

вает — играет в винт, и о военном министре, с которым была у него «возня», по семейным делам, но... «обворожительный человек!» Сыпал профессорами академии и генералами здесь и там, называя по имени и отчеству. Уважительно говорил об армии, о комиссии по обороне, о государственной думе, которая «должна же, наконец, предоставить армии достойное положение в стране, на которое она имеет право, как национальная и государственная сила».

Люси внимательно слушала их беседу, поигрывая рукою Стефа. Прибежала Машенька и утащила:

— Пожалуйста, декламировать... Нет, нет, не кочевряжься!..

Лакеи обносили ледяным шампанским, и Бураев повеселел. Люси казалась ему особенной. Сильно открытое голубое платье с короткими рукавами из серебристой дымки, с воздушным трэном, который она ловко подхватила, вбегая на эстраду, делало ее особенно желанной. Дремучие мохнатки-бровки сегодня особенно манили, обещали. Бураеву казалось, что все влюблены в нее. Джугунчжи неотступно ходил за ней и млел, потирая ручки. «Настоящий поэт», похожий на мумию цыганки, успел уже поднести стихи, которые она спрятала в корсажик. Стихи были прочтены с эстрады:

Живые бархаты бровей
Меня волнуют темной страстью:
В них небо хмурится к ненастью,
Под ними черный жар огней.

Бледные, изможденные поэты двигались за Люси сонной сплошной стеной. И вот, опьяненная успехом, Люси появилась на эстраде. Бураев знал, что она хо-

рошо читает, но — здесь!.. Он с удовольствием пил шампанское, Машенька волновала его шопотом на ушко, касаясь щеки губами, и ему казалось, что здесь особенно тонкий мир, и выступать перед этим миром страшно. Артистка Художественного театра, в розовой кисее, сидела, как роза, в группе почтенных профессоров. Известный писатель мрачно стоял в углу, окруженный девицами, с локонами по щекам. «Суровый» театральный критик приблизился к эстраде и ожидал. А Люси ничего не страшно, глаза играют... Бураев подумал — молодчина! Адвокат помахал платочком и, склонившись к Бураеву, шепнул:

— Слыхал от Марии Евгеньевны, что у Людмилы Викторовны большой талант, и, главное, оригина-льный! А мы здесь шаблоним... надоело.

Бураев не ответил. У него сильно сдавило грудь, как бывало всегда перед атакой. Тонкое личико Люси осветилось смущенной улыбкой, и Бураеву показалось, что ее «вишни», ставшие черно-черными, ищут кого-то в зале... Его, конечно. И он мысленно перекрестил ее. И вот, Люси потянулась, словно поцеловала воздух...

Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня,
Темноголубые?..
И о чем грустите вы
В день веселый мая...

— Не-передавемо!.. — прошептал Ростковский.

Зал загремел от восхищения. Суровый критик поцеловал руку у Люси. Розовая артистка расцеловала

«удиви-тельную артистку». Даже футурист разодрал на себе одежды и воскликнул — «вот что может еще спасать ваше прогнившее искусство!» Джугунчжи склонился в реверансе. Ростковский, воздев руки, что-то кричал восторженно. Бураев хотел идти, но Машенька усадила его с собой и, толкая коленками, смотрела прямо в глаза своими искристо-серыми и шептала, совсем в чаду:

— Что глядите на меня, темноголубые? . . Люсик это вам, вам так спела! Именно, спела . . . Удиви-тельные у вас глаза! . . Вы — миф! . .

Бураев пожал плечами. Лакей подавал шампанское.

— На брудершафт? — лихо сказала Машенька, чокаясь с Бураевым шампанкой.

— Идет! — сказал Бураев.

— Ты, Стеф, особенный . . . Ты о-чень . . . внутренний! . .

— Ты . . . —смущенно вытянул из себя Бураев, — Машенька, а похожа на . . . египтянку, только глаза . . . Русская . . .

— Бабенка? . . . — лихо сказала Машенька. — А ты . . . синеокий миф, правда!

— И никакой не миф, а просто малый, солдат. И ты мне нравишься, только не толкай коленкой . . .

— Глупости какие! Мы не чужие, и Люська не станет ревновать, не бойся. Завидую я Люське, какого сокола подхватила! . .

Бураев засмеялся: чудесная была Машенька, простецкая. И все — простецкие, если разобрать. Даже и бледные поэты. Даже Джугунчжи, ходивший, как кот, неслышно, казался ему добрейшим.

Машенька опять толкнула. Он почувствовал возбуждение и быстро пошел к Люси.

— Не скучаете с нами, капитан? — взял его под руку Джугунчжи. — Как это поется? .. — И пить будем, и гулять будем . . . а когда смерть придет . . .

— Помирать будем? — спросил-досказал Бураев. — Будет за что — помрем.

Был бесконечный ужин, с необыкновеннейшим осетром на блюде, пулярдами в пестрых перьях, индейками с распущенными хвостами, с «парижскими пирогами», с корзинами тонких фруктов, с бешенною пальбой шампанского, с коньяками, с ликерами, с кошелками соленого миндаля, фисташек, с битвой «влюбленных шариков». Неожиданно для себя Бураев оказался под яростным обстрелом, — может быть потому, что единственный был военный? В него метко стреляла Машенька, артистка, какая-то даже пожилая дама в великолепнейшем декольтэ, — «миллионами в вас палят», — шепнул ему, приставив ладонь ко рту, Ростковский, глазами показывая даму, — «половинка вашей губернии у нее в лифчике!» — девицы в болтушках-локонах, вперемежку с поэтами, и, совсем украдкой, такая скромненькая его Люси. Даже банкир Джугунчжи стрелял и взвизгивал.

Великолепнейший лимузин, мягко шурша по снегу, отвез на заре в «Лоскутную», после прогулки в ночной кабак, где опять мелькали черные тонкие поэты с лицами мертвецов, где прекрасная Машенька схватила в гвалте руку Бураева и долго держала на коленях.

— Ко-шмар . . . — крутя головой, полупьяно сказал Бураев, когда очутились в номере.

— Стеф . . . — шептала Люси, в забвеньи.

В полдень явилась Машенька в мехах-размехах. а за ней принесли цветы, огромные две корзины. Она была игрива-возбуждена, торопила Люси поехать на Кузнецкий, — «ну, так что-нибудь купить». Когда Люси одевалась в будуаре, — наняла для них Машенька в «Лоскутной», — «и ни-ни-ни!» — Машенька так взглянула, что он потупился. Она погрозила ему перчаткой и, — этого уж никак не ждал, — взяла его под руку и потянула нежно. И, как ни в чем ни бывало, стала крутить танго.

Его не взяли — в бабьи дела мешаться! Он пошел прогуляться, позавтракал у Филиппова кулебякой с кофе, купил у Девриена нужные для подготовки книжки, поглядел на Большой театр, напомнивший ему встречу с Клэ, теперь уже княгиней . . . Густо повалил снег. На углу Петровки, у кондитерской Флей-Трамблэ, с ним неожиданно столкнулся товарищ по выпуску Осанко, теперь уже подполковник, из штаба округа. Поговорили о новостях. Верно, бригадного ихнего уберут, командный состав омолаживают усиленно. Почему в Москву не переводится? Устроить можно. Гейнеке добивается бригады и, кажется, получит: связищи в Петербурге, да и стоит. Тогда и совсем легко перетянуться. Когда они разговаривали, подкатил бордовый автомобиль, и вышла шикарная блондинка в широком манто из соболя, в кокетливой шапочке с эспри. Бураев с изумлением дал дорогу, не веря глазам, что это . . . да неужели Нида?! Мелькнувшая перед ним красавица обернулась к нему в дверях, задержалась на миг, резнула смешливым взглядом и исчезла. Она, Нида? . . Не

может быть. Но пушистая родинка на щеке — та самая! И серые, вострые глаза... Нида из Птичьих Двориков! Сверстница его по играм, первая детская любовь! Он что-то слышал, в Яблоневе рассказывали, что «Нидка пошла в аристократки». Но та была тоненькая, как стебелек, а эта — полная и высокая, роскошная москвичка... И так взглянула! Впрочем, многие на него глядели. Он простился с товарищем и хотел повернуть к Кузнецкому, как услышал веселый оклик:

— Степан Александрыч! Вы это?!..

Шикарная блондинка махала ему муфтой, и стало ясно, что это Нида.

— Вот неожиданно!.. Сколько лет, а все-таки узнала... молоденьким офицериком видала в последний раз! Узнали меня?..

— Нида... какая же вы стали, по родинке только и узнал, да по вашим неизменным глазкам!.. Разбогатели? замужем?..

— Любопытный какой... И замужем, и холостячка... вот как хотите! — болтала Нида, шлепая его по руке перчаткой. — А как по-вашему лучше? Забыли небось, а я про вас часто думала. Раз даже написать хотела, да... совестно что-то стало. Чего, думаю, старые дрожжи подымать... поэзию разводить! А вот под снежком и встрелись...встретились! — поправилась он с улыбкой. — Пойдемте шоколад пить с шашечками. Помните, как меня шоколадками подчевали? А вашу коробку с абрикосовой пастилой и посейчас помню, как юнкером меня отыскивали! Мне тогда дворник все выложил. Э-эх... Ну, пойдемте, берите меня под-ручку.

Они проболтали с полчаса, как добрые старые друзья. Бураева изумляло «преображение»: из деревенской девчонки, потом из московской девченки-белошвейки, за двенадцать-тринадцать лет выправилась шикарная бабенка, дама. О нем она знала почти все: брат ей писал иногда из «Двориков». Конечно, она им помогает, живут богато. Все еще не женился? Скоро... — ну, дай Бог счастья. А она уж и заграницей побывала, скоро опять уедет.

— Чего от вас мне таиться, сами хорошо понимаете... А особо дурного чего не думайте. Чего раньше было, глупила там... сплыло. А теперь будто и по закону, пять лет в «у-зах», и растет мальчонка. Ах, прямо вы для меня... ну, как родной совсем встретился! После завтра, заезжайте, право?..

И Бураев почувствовал, что и в самом деле — Нида, словно, ему родная. Он обещал побывать у ней, только в другой приезд: завтра утром он уезжает, последний срок. Она усадила его в автомобиль и подвезла к «Лоскутной». И в этот короткий путь она все всматривалась в него и вспоминала:

— А глаза у вас все те же... у мальчика какие были! Ах, Степочка, Степочка... Нет, ради Бога, не забывайте.

И, — смутило это Бураева, — она взяла его руку, посмотрела ему в глаза и... нежданно поцеловала. Он только вскрикнул:

— Нида!.. — и стал целовать ей руки.

Решительно, этот снежный день полон был неожиданностей. Когда подкатили к гостинице, у подъезда стояли Люси и Машенька, и, в волчьей дохе, Ростков-

ский. Бураева встретили веселым гамом, а Ростковский раскланялся с блондинкой. Бордовый автомобиль отъехал.

— Ого, капитан-то одержал победу! — сказал, раскланиваясь, Ростковский. — Одна из прелестнейших московок — и вдруг, всего за день пребывания . . . Что значит-то глазомер, быстрота и натиск!

— Кто это? . . — теребила Машенька за рукав, Люси только внимательно смотрела, — извольте сейчас сказать!

Бураев отшутился: так, «из детских воспоминаний». Не мог объяснить лучше и Ростковский, кажется все на свете знавший: заграницей встречался, видал с Придымовым.

— С Придымовым?! — не поверила Машенька, — с тем самым?!

— С тем самым. Три года, как овдовел, а жениться что-то не собирается, есть одно — маленькое «но»!

И он раскланялся.

Машенька наградила «дяденьку» чудесным несэсэром, — всякому, ведь, офицеру нужно. Бураев пожал плечами, но не мог не принять подарка. У Люси оказалась гора обновок.

— Пожалуйста, не разбирайся в тряпках и не ворчи, — сказала Машенька. — Я столько ей должна, что . . .

Обедали в «Эрмитаже», возила Машенька. Были в Художественном, смотрели «Вишневый сад». Ужинали в «Праге», встретились знакомые артисты и Ростковский. Перешли в малиновый кабинет, и там оказалось уже человек двенадцать. Заглянул на полчасика Джу-

гунчжи, выпил фужерчик содовой и уехал в Кружок играть. Бураев волновался: чорт знает, кто же платить-то будет, так — совершенно невозможно! Было у него около ста рублей, и надо на дорогу, а до двадцатого далеко. Но вышло все как-то незамтно, словно и не платил никто. Выходили из «Праги» в самом веселом настроении. Машенька потянула ехать в Петровский парк, — смотрите, луна какая! Но Бураев отговорился: Люси устала, смотрите — какая бледная. Люси не сказала ничего. Ростковский вежливо поддержал:

— Действительно. Это нам, ветрогонам, не привыкать-стать! — и вспомнил, что ему раным-рано надо быть завтра на важной экспертизе.

Когда вернулись в гостиницу, Люси сказала:

— Почему ты всегда за меня решаешь — «Люси у-стала»? . .

— Почему же ты не сказала, что готова шляться хоть до утра?

— Шля-ться! . . Оставьте эти ваши солдатские словечки, я не привыкла к ним. Приехать в Москву на какие-то там два дня — и торчать в номере!

Он сказал сдержанно:

— Я не привык к содержанству. На ночное шлянье по кабакам у нас нет средств, ты это прекрасно знаешь!

— Пустяки какие . . . — повела Люси обнаженными плечами, раздеваясь перед трюмо. Мы здесь гости, и Машеньке доставляет удовольствие. У глупышки головка закружилась, неужели ты не замечаешь? . . Почему немножко и не пошутить! . .

— Может быть и еще у кого-то закружилась? . .

— Мо-жет быть... — сказала Люси насмешливо, любуясь собой в трюмо. — В господина Ростковского вот влюбилась. Разве я не могу влюбиться?..

Полураздетая, возбужденная шампанским и коньяком, она перебежала к нему и села на колени. Такой он еще не видел ее, требующей его любви. Эти два дня в Москве она стала совсем особенной.

— Кто эта интересная блондинка, а?.. — шептала она, кусаясь, — скажи, я не ревную... прежняя твоя, да?.. Врешь, знаем мы эти «подружки детства...» Чтобы из деревни, така-я!.. И все-то в тебя влюбляются... о, синеокий мой... только мой, да?..

Уехать утром не удалось. Приехала Машенька и увезла к себе завтракать. Не было никого, но стол поражал «безумством», — даже Люси сказала. Роскошный омар, доставленный от «Эрмитажа», лежал... на плато из роз!

— Твой любимый! — захлопала в ладошки и завертела Бураева. — Я все твои вкусы знаю, все, все!..

Она была в прозрачном кружевном капоте цвета сомон, с дерзким разрезом сбоку. Когда присела к нему, капот открылся, и он увидал в смущеньи розово-смуглую коленку. Личико египтянки, с легким пушком над губкой, влекло его. Ищущие его глаза, подернутые негой, кричали ему так ясно,.. И то, что влекло его к женщинам, — ласкающая нежность, в аромате цветов-духов, — так и играло в ней. Это была изящная маленькая женщина, веселая, живая, простодушка. Она взяла его руку и, шлепая по ней детской своей ладошкой, шепнула нежно:

— Я буду о-чень скучать, о-чень... Можно к тебе приехать, скажи? Чего ты смеешься... думаешь, шучу? Странно тебе, что я так прямо?.. тебе Люсик что-нибудь сказала, да? что она тебе сказала?..

Люси в комнате не было, ушла говорить по телефону — поторопить портниху. Бураев не успел ответить, как Машенька обняла его за шею, и потемневшие вдруг глаза сказали ему так страстно, что он потерял над собой власть и обнял ее, шепнув:

— Пиши мне на полк... когда?.. в монастыре остановишься, за городом, приеду...

Вышло это «налетом». Мелкнуло — «да что я это!» — но он увидал смуглую полоску тела, призывающие его глаза... обнял ее за талию, подавшуюся к нему так бурно, и они начали танцевать танго. Вернувшись Люси захлопала:

— Стеф-то наш разошелся!..

— Степочка переводится! — заявила с чего-то Машенька. — Дал слово!

— Ничего подобного!

Бураев сконфуженно поглядел на Люси. Она что-то записывала в блокнотик.

К отходившему в десять вечера курьерскому приехали провожать Машенька и Ростковский. Когда тронулся поезд, Машенька крикнула, посылая воздушный поцелуй:

— Непременно в «ваш монастырь» приеду!

Ростковский не провожать приехал, а по делу: забыл передать для вручения несчастной Малечкиной триста рублей, собранных для нее знакомой молодежью.

— Совсем из головы вон! — конфузливо извинялся он, вынимая три радужных из туго набитого бумажника. — Не откажите, Людмила Викторовна, передать, совершенно не помню ее адреса.

Люси поблагодарила взглядом.

Поезд гремел в лесах, когда, оставив синюю лампочку, улеглись в белоснежные постели международного вагона. Бураев потребовал с себя отчета. Так его научил отец: «выстрой, что было за день, и — «по порядку номеров, расчитайтесь»! И когда выстроил все, что было в эти два чадных дня, так и назвал Бураев, — им овладело омерзение. Пьяный он, что ли, был? Конечно, пьяный. Пьяный с утра до вечера, — и телом, и душою, — противно вспомнить. Шлянье по ресторанам и кабакам, разжигание похоти, — вот что было. Люси совершенно опьянела, отчудилась, — и скромная жизнь покажется ей теперь ужасной. Она уже и без того скучала. Ухаживали за ней настойчиво, нахально. И этот хлюст-адвокатишка, и кавказский банкир, хитрюга, и вся та мразь, подносившая ей стишки и говорившая пошлости... даже прилипшая к ней артистка. Люси потрясающе красива, а эти еще наряды, цветное шелковое белье...

Бураев пригляделся. Люси лежала, заложив голые руки за голову, откинув плюшевое одеяло, — жарко было натоплено. Он долго всматривался в нее, и ему все казалось, что тело ее поводит дрожью.

— Люси, ты не спишь?

Он видел, как она вздрогнула и быстро прикрылась одеялом.

— Так, дремлю... — сказала она устало.

— Думаешь о Москве . . . Покойной ночи.

— Покойной ночи, — сказала она, зевая, равнодушно.

Конечно, думает, вся — в чаду. Его обидело ее равнодушное «покойной ночи», совсем чужое. И не ответила, что думает о Москве, не стала спорить. Теперь их средства покажутся ей несчастными, а его служба — жалкой. это и раньше чувствовалось, а после хвастливой болтовни московской! . . Бураев с раздражением вспоминал, как спрашивали Ростковского: правда ли, что получит за какой-то «алтаевский процесс» чуть ли не двести тысяч. — «Ну, не совсем так . . . — поправил кокетливо Ростковский, — «с небольшой добавкой в три процента с выигрыша». — «А велик выигрышь?» — «Да наверняка-то набежит, пожалуй, миллиончикам так . . . к семи». Бураев с отвращением вспоминал, как он почувствовал себя маленьким, ничтожным в глазах Люси, — так она удивленно слушала. А это швырянье деньгами без счета, шампанское, как вода! Разврат. И только подумал это — «разврат», съежился от стыда, ярко себе представив ужасную сцену с Машенькой. Это бродило в нем целый день, и он утаивал от себя, как обольстительное и гадкое. Но теперь, при «подсчете», в трезвом грохоте поезда, перед милой его Люси, которую он безответно любит, это предстало пред ним, таким безобразно голым, таким преступным, что он сжал себя за голову и застонал от боли.

— Стеф, что с тобой . . . проснись! . . тревожно окликнула Люси.

— А . . . ничего . . . — с глубоким вздохом ответил он.

Она все еще не спала, все думала.

Нет, это наваждение! Указал ей на монастырь, желал ее!.. Путаться с Машенькой, — она чудесна, как женщина... — и любить, страстно любить Люси?! И женственно-мягкий облик маленькой и веселой «египтянки» с русскими, серыми глазами, льнувшей к нему так нежно, дышавшей такою лаской, вызвал в нем грусть и радость. «Держи и держи себя, не распускай... что бы ни случилось — воли не выпускай!» — мысленно, как монах молитву, прочитал про себя Бураев заветное свое правило. И сейчас же решил — написать Машеньке, объяснить ей свое душевное, что любовь его к ней — другая, что она для него... — подумал восторженно Бураев, — словно и мать, и женщина, — сердцем он это чувствует, — и случись с ним большое горе, к ней он придет за лаской... что было бы бесчестно перед Люси, которую она так любит... что в чаду это все случилось, и надо с собой бороться.

«Если бы обманула меня Люси?..» — поглядел на нее Бураев.

Одеяло было откинуто, и голубовато-мраморная нога Люси, обнаженная до бедра, выкинулась за край постели, а роскошные руки-изваянья были закинуты в истоме. Он представил на месте себя — другого, представил Люси такой... — и задохнулся.

— Люси... — нежно позвал он шопотом.

Люси не шевельнулась, но Бураеву показалось, как дрогнула обнаженная нога. Он тихо опустился на колени, прильнул губами.

— Люси...

Она дышала ровно, спала. Он прикрыл ее одеялом и долго сидел и думал, сторожил ее сон — не сон.

После чада Москвы потянулись дни трезвые — работа в роте и подготовка к экзаменам. Он написал Машеньке письмо, полное нежных излияний, — рождались они неожиданно, как из влюбленности. Он называл ее самыми нежными словами, наделял достоинствами чистой из чистых женщин, умолял не строго судить его за «ту дерзость», сказанную в чаду ... объяснял свой поступок «страстью, которая вспыхнула, как пожар, от ее странных чар, от ее женской ласки, особенной ласки, в которой он вспомнил что-то ... в которой чувствовалась ему и мать и женщина». «Прошу вас, забудьте, не приезжайте ... поймите меня, у меня Люси ...» «Да я знаю, — заканчивал он письмо, — теперь знаю, что люблю вас по особенному нежно, что вы мне дороги, что ... скучаю по вас и — странно! — только о вас и думаю ...»

Она прислала ему на полк коротенькое письмо — ответ:

«Милый, зачем — «вы»? Все равно, я — твоя, ты — мой. Ты будешь мой. Я не святая, и не вовсе дурная, а так ... Называли меня в гимназии — «весёлка», веселая! И не любила по настоящему. А что такое — по настоящему? ты знаешь? Кажется мне, что ты вот и есть «по настоящему». Целую твои глаза. Я плачу ...»

Его не удивляли резкие перемены настроений, которые замечал в Люси. Это и раньше было. Нет у ней никакого дела, и это ее нервит, и винить за это ее нельзя. После успеха с чтением у ней закружилась голова, все в нее влюблены, конечно ... а прилипшая к ней артистка пишет такие письма, любовникам впору разве ... Иди и иди на сцену, это священный долг! .. Все

уже подготовлено, студия ее ждет, дело только за ней — приехать- что-нибудь прочитать директору . . .

Это Бураева смущало. Переводиться надо? Отказать он Люси не мог.

Надо было решать, и он написал Осанке. Тот с промедлением ответил, что надо выждать, когда Гейнике назначут или бригадным, или, пока, командиром . . . го полка, что очень вероятно, но раньше конца маневров вряд ли. Люси нервила, размолвки их становились чаще. Первый крупный раздор случился из-за «несчастной» Малечкиной. Люси пришла от нее в слезах.

— Что за ужасные людишки! . . — рассказывала она Бураеву. — Эксплуатировать так высокие чувства человека . . . Бросил свои дела, душу вложил, вырвал чудовище из ямы, собрал среди молодежи деньги, а эта гадина . . . Застала ее в такой . . . такое пьянство, дети в каморке, а она канканит с какими-то «котами» в малиновых рубахах . . . я не знала, как выскочить! Она меня изругала самыми последними словами, когда я заикнулась, что хочу видеть ее детей. Соседи уже проводили меня из ее трущобы . . . Говорят, не давайте, «все на «котов» прожрет». Придется написать адвокату, куда эти деньги . . . Отобрать от нее детей? . . Я измучилась, довольно . . . — и она вышвырнула деньги.

— Нечего тут наивничать! — резко сказал Бураев. — Ваш адвокат с «высокими чувствами» . . . хлюст известный, и ему наплевать на все! . . И вытащил вашу Мелечкину из каторги для общественного скандала и своего дешевого честолюбьица . . . да! Есть болваны, которых ловят на «высоких чувствах», а болваних и подавно. Убедились? Покрасовался молодчик перед дура-

ми с куриными мозгами, «привлек симпатии», сорвал аплодисменты, воздушные поцелуйчики... купленные газетчики расписали... а он, герой, прикрылся «вы-со-кими чувствами»!.. Деньги собрал... прибежал-запыхался на вокзал... «ах, забыл самое важное... для несчастной женщины»! Убедились?.. И очень рад.

Люси презрительно-дерзко слушала.

— Я всегда считала тебя солдатом! — сказала она и вышла.

— Это верно! — крикнул он ей вдогонку. — Последний мой солдатишка в роте честней брехунов продажных, ваших!.. Честней ваших .....! — вырвалось у него «словечко». К ним ступайте... как раз подмасть!..

— Ро-мантик!.. — крикнула она за дверью.

Два дня не говорили, и опять наступило примирение. И снова размолвка, посерьезней.

— Я завтра еду в Москву, — сказала Люси решительно: дело было на Рождестве. — Меня принимают в студию.

— Вот как!

— Остановлюсь у Машеньки. Странно, почему ты так медлишь с переводом? Я берусь устроить... можно? Через две недели ты получишь роту в .... полку!

— Вот как?! Ты почти всемогущая. Кто же так ворожить умеет?

— Не все ли равно, кто! Скажи, и...

— Не скажу. Кто это так возлюбил... меня? и за что?! Нет, ты не вертись! Теперь, я, я тебя спрашиваю!.. И ты мне должна ответить.

— Ну... Машенька хлопочет! — сказала она с усмешкой, — через своего всемогущего Джугунчжи.

Бураев пристально посмотрел в глаза.

— Неправда, Машеньку не припутывай... она прямей! Со мной не играй. Я тебя спрашиваю — к т о?.. какая гадина-шпак смеет совать свой нос в мое продвижение по службе?.. из каких видов?!.. Нет, ты ответишь мне!.. — в бешенстве крикнул он, отталкивая Люси от двери. — Ответишь! К о г о ты смела просить за меня, за жалкого солдата, прозябающего в дыре?..

— Я же тебе сказала... И потом, я не привыкла, чтобы на меня кричали! Оставь эту... дикую манеру!..

— Оставил.

Он ушел в полк и вызвал по телефону Машеньку. Они беседовали часто, особенно в дежурство.

— Я тебя понимаю, Степанчик... — пела в телефон Машенька, — ты прав, я не посмела бы хлопотать, не спросясь тебя. А кто... право, не знаю точно. Целую тебя, гордец. Ты мне не позволяешь приехать... Ну, сделай для меня, приезжай с Люсик, хоть на один денек, на елку!.. Нет денег, какая глупость... Что, нельзя? Даже от «миленькой» нельзя?.. Ну, Господь с тобой.

Вернувшись после занятий, он застал Люси в спальне: она примеряла черное шелковое платье, в котором собиралась выступить «на экзамене».

— Ты солгала, как я и предполагал! — сказал Бураев железным голосом. — К т о?..

— Что — кто? Я ничего не понимаю... — сказала она, вертясь заботливо перед зеркалом, словно не было

ничего серьезного; но по косившему ее глазу с милой и ненавистной бровкой, Бураев понял, что в ней тревога.

— Кто?!.. — повторил он тем же железным голосом, с ненавистью любуясь ею, тонкими стройными ногами, обтянутыми юбкой.

Она расхохоталась ему в глаза:

— Да что ты ко мне пристал!.. Правда, идет ко мне... черная бабочка какая?.. — отмахнула она рукав. — Ну как же... едем?

Это его взорвало.

— Театральности эти к чорту! — крикнул он, подходя вплотную. — Я спрашиваю вас — кто?!

— Ударишь?.. — повела она вызывающе головкой, и загоревшиеся презрением черно-матовые глаза ее, с этим туманцем неги, покорявшим его всегда, поразили его холодностью.

— Я знаю, кто хлопочет! Этот прохвост, этот!..

— Сло-вечко!..

—...молодящийся жеребец во фраке, мерзавец, болтун и лгун! Молчи, мы не в театре, помни! И знай... —погрозил он пальцем, сдерживая себя, чтобы не ударить по смеющемуся лицу ее, — лучше... предупреди! уйди!!.. Нового .... захотела?!..

Она зажала уши, в отвращении, в ужасе.

— У-бью!.. Я не Краколь, ничтожество... убью!..

Взглянул на нее и — новую в ней увидел, и с болью упал к ногам, обнял ее колени.

— Люси... прости, Люси... я не сознаю... я весь истерзан... прости!.. Святая моя, прекрасная моя... богиня моя... чистая моя!.. Себя убью, Люси!..

— Сумасшедший... Стеф... это безумие, Стеф... — шептала она, страдая, тиская его голову. — Красавец мой, безумный... что выдумал!.. Так оскорбить... за что? Для тебя, порвала со всеми... Я же для тебя... Причем этот адвокат?.. что он мне!.. Как тебе не стыдно... мне писала подруга из Петербурга, ее муж в главном штабе... и это она сама предложила мне... если тебе понадобится... могу показать письмо!..

Выход был найден — в страсти.

На другой день Нового Года, встреченного невесело, не в кругу полковых товарищей, как раньше, а дома, с Васенькой Шелеметовым и конфузливым Куличком, Бураев сам проводил Люси, терзаясь и сдерживая себя. Она обещала вернуться дня через два, — «а там, если устроится, мы решим». Что же решать, — решили! Студия, будет у Машеньки, иногда будет приезжать. И он — иногда будет приезжать.

Она вернулась через три дня, в четыре часа утра, курьерским. Какое горе, она потеряла шапочку... стащила какая-то дама по вагону! Мороз был за 20 градусов. Как розовая льдинка, в розовом своем капоре, она стремительно кинулась на шею и, прямо, задушила, когда он открыл ей дверь. Огненная она была, с мороза, и запросила вина, вина...

В студию ее приняли с восторгом, успех огромный! Работы бездна, но она так счастлива... — и она откидывалась в качалке, в неге. В любви — доходила до безумства, и что-то в ней было новое. Что-то в глазах, другое, — мечтанье в неге. И в голосе — новая певучесть, слабость. Когда он ласкал ее, гладил ее мох-

натки-бровки, она стала бодаться бровками, чего он не знал еще, искривила в истоме губы и зашептала томно, закрыв глаза:

— Не надо... лучше скажи... «медве-дики»... «шелковые мои, мои мишки-медведики...» они дрему-у-чие у меня, ведь, правда?..

И он, радостный, повторял — «медве-дики... милые мои медве-дики...» — и прикусывал с ее губок вишни, пьяные вишни, от Альберта.

Два дня пробыла она, увлекая его на тройках за город. Крепко морозные были ночи, в искрах и стрелках инея. В кудряво-седых березах по большаку, в хрусте и скрипе снега, под месяцем туманным, дальним, круглым, как яблочко, мчались они в просторах, ища чего-то, рвали из ночи ласки.

— Ах, Люси!..

— Ми-лый...

— Скоро уедешь...

— Ми-лый...

Дурманило новыми духами — «10—20», «божественными»: «dix-vingt». Сладкие они были, вязкие. Раньше она душилась ландышем. Привлекая его к себе, укрывая мохнатой муфтой, подарком добрячки-Машеньки, Люси шептала:

— Стеф... пожалей меня...

— Разве ты так несчастна?.. — спрашивал он, страдая.

— Бабы так говорят — «пожалей»... приласкай!

Новые были у ней слова, новое что-то в тоне, новый, д а л е к и й, взгляд, словно она — не здесь. Студия так меняет?.. И то, что почувствовал в ней тогда, в жар

ком купэ вагона, когда спала-не спала она, в чутком оцепенении, что томило его тревогой, чувствовал и теперь Бураев — в дрожи ее объятий. Не та Люси? .. И — как-будто, вернулось то, что казалось почти забытым: первые дни свиданий, весенних, страстных.

Она приезжала аккуратно, каждые две недели, — дарила страстью. Заглушая тоску по ней и рождавшуюся порой тревогу, он все дни проводил в полку, а ночами сидел над книжками. Надо было платить долги. Какой-то скорняк Ловягин подал счет на пятьсот рублей — за муфту, боа и шапочку! А Люси говорила — уплатила. Пришлось написать отцу. Приносили счета из лавок, троечник приставал «с расчетцем».

Машенька умоляла: «тебе тяжело, я знаю . . . прими от меня, взаймы!» Он отклонил шутливо: «миленькая, не в деньгах счастье!»

Пришло неожиданно письмо, от Ниды, тронуло задушевностью. «А я все об вас мечтаюсь, дорогой Стёпочка, уж простите, привычно так. Скушно мне без вас стало, как встретились. Навестите вашу навеки Нидочку». И так захотелось к ней, показалась такой родной . . . Подумал: «была бы верная, до конца, «без грима». Было еще в письме: «Бывает с человеком, вот затоскует-затоскует, заноет сердце! Когда приключится грусть, вспомните обо мне, Нидочка вас приветит». Он ответил ей сдержано: будет в Москве — заедет. Подумал — и приписал, что целует мягкие ее ручки, — «помнишь, играли в шлепанки?» — что очень рад, получилось письмо в тяжелую минуту.

В студии очень ладилось: «через годик и публике покажут, все от меня в восторге».

Пасху пробыли вместе. Торопилась на Фоминой: «идут репетиции, к экзаменам . . . В. до безумства строгий, такую горячку порет!» Но он упросил остаться: весна какая! Смотрели разлив с обрыва, как медленно отходили воды, как розовые стекла отставших луж нежно мерцали на закате.

Прошла и Фоминая. Он умолял — останься!

— Что же тогда . . . бросать?! . . Что за . . . ребячество! . .

Буйно цвела черемуха. Начинали венчаться вишни. Тихие вечера томили. Тихая, грустная Люси нежно белелась на обрыве, смотрела в даль. Накануне ее отъезда Бураев опять сказал:

— Ну, хоть один денечек . . . скоро уходим в лагерь? . .

Прошла неделя. Все уже распускалось. Лиловатые елочки сиреней осыпали вершинки. Желтые «бубенцы» пышно сияли в вазах. Телеграмма из студии: «десятого экзамен, будьте».

— Ну вот, и напоминание . . . так это неприятно. Проходим Чехова, через меня задержка! В. ужасно требователен . . . — говорила Люси взволнованно. — Завтра я непременно еду.

И она побежала отправить телеграмму. Пришел Валясик.

— Пакеты отправил, ваше высокоблагородие. Вот, энтот на почте письмецо велел барыне обязательно на руки отдать, а их нет. Извольте вам.

Бураев взглянул, и сердце его пропало. «До востребования, Л. В. К.» — твердым, красивым почерком, —

мужским! «З д е с ь» — сказало ему письмо. Он сидел у стола и барабанил, а письмо говорило: з д е с ь!

Люси, наконец, вернулась. Снимала в передней шляпку.

— Была на почте . . . — сказала она устало, и Бураев в глазах увидел . . . — Письмо мне, кажется . . . передали Валясику на почте? . . Дай-ка . . . — увидала она конверт, которым помахивал Бураев.

— Искал вас, бариня, а вас нет . . . — сказал из двери Валясик, — барину передал.

— Как же ты смел, дурак! . . крикнула на него, не помня себя, Люси.

Бураев помахивал конвертом.

— Виноват, бариня, простите . . . — смущенно осклабился Валясик, — по мне, что барин — что бариня . . . — и понуро ушел на кухню.

— За что ты его назвала дураком? — сказал, сдерживая себя, Бураев. — Он честный, верный солдат и предан мне, как друг! Больше, чем . . . Под пулями носил мне есть, ночи возле меня сидел, когда валялся я в лазарете! . . Если я его иногда ругаю, он знает . . . и прощает, дружески . . . и я ему многое прощаю! Вот твое письмо. Разве, здесь, тайны, от меня? . . «До востребования»? . . Не знают адреса? . .

— Значит, не знают! Отдай письмо . . . — возбужденно сказала она, протягивая руку.

— Но . . . я хотел бы знать — от кого? . .

— Насилие? . . — выкрикнула она, — сейчас же извольте отдать письмо! . .

— От кого? . . — повторил Бураев, не сводя глаз с менявшегося лица Люси.

— Отдайте сейчас письмо!.. — истерически крикнула она.

— Теперь... не дам! — чеканя слова, твердо сказал Бураев. — Да, на-си-лие... говорят в вашем обществе. Но я — грубый солдат, что делать! Я знаю, что в этом... «секретном» письме — меня касается!.. — выговорил он медленно в округлившиеся ее глаза. — Готов держать пари...

— За насилие отвечу. Валясик, револьвер!.. — крикнул Бураев, бросая письмо на стол. — Не трогайте!..

— Стеф... — прошептала Люси, бледнея.

— Не волнуйтесь. Сейчас поймете.

— Какой прикажете, ваше высокоблагородие? — спросил за дверью Валясик.

— Ну... казенный, наган... не знаешь!.. — крикнул Бураев раздраженно. — Пройдите в спальню, — приказал он Люси, уткнувшейся в портьеру.

Она не шевельнулась. Он взял ее за руку, и она покорно пошла за ним. В спальне он запер окна и встал у двери. Денщик подал ему наган.

— Ступай, чего ты?.. Жди там!.. — крикнул на денщика Бураев. — Марш!

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — и денщик ушел.

— Что вы хотите?.. Ради Бога... Стеф!.. — шептала Люси, мертвея, — за что ты хочешь меня...

— Не вас. За «насилие над личностью» заплачу. Можете быть спокойны. Письмо я вскрою. И если я... если не касается моей че-сти... расплачусь. Честно, до

конца. Довольно этого ... — не находил он слова. — И тебя я мучил, и сам измучился ... довольно!

— Не хочу! не хочу! .. — закричала Люси, хватаясь за голову. — Умоляю тебя ... Стеф! ..

Он разорвал конверт:

— Стеф! ..

— Ты боишься? .. письмо не задевает меня? .. жалеешь?! .. знаешь, что я сдержу? ..

Она вцепилась и не пускала руку. Он оттолкнул ее. Она уткнулась лицом в подушки. Было всего три строчки: «Зачем, так, мучаешь? Послал, четыре, телеграммы, получил, твоих, две, только! Когда, же? .. Где, же, слово? забыла? Бешено, целую, жду ... А.»

Он читал однотонно, рубя слова. С каждым словом голос его снижался, и последнее слово — «А» — он произнес, как вздох.

Наступило молчание. Через это молчание взрывами прорывались всхлипы. Бураев вздохнул, поглядел на кушетку, где билась Люси в подушках.

— Так ... — как во сне, произнес Бураев. — Судьба. Платить не придется за ... «насилие» ... Слышали, что вам пишет любовник А.? .. Может быть есть и Б.? — с горькой усмешкой продолжал он, — и В., который «ужастно тре-бователен»? .. требует вас к ... экза-мену?! .. Хорош «экза-мен»! И потому ... можете быть за меня спокойны. Дайте сюда «четыре телеграммы».

— Стеф! .. — умоляюще вскрикнула Люси, сжимая руки, — клянусь тебе! .. это ложь, это ... кто-то чернит меня, клянусь самым ...

— Четы-ре телеграммы! — повторил он.

— Я ничего не помню ... это мистифи ...

— Последний раз — четыре телеграммы? . . Валясик пойдет на почту, с моим письмом, за справкой . . . В городе, где все знают все, вы не постеснились получать тайно телеграммы и письма . . . бегали за . . . Четыре телеграммы! . .

— Но, Стеф! . . Я их разорвала . . . ничего там . . . обыкновенное увлечение . . . самый невинный флирт . . .

— С «бешенством» поцелуев? . . Последняя . . . порядочнее вас, а я называл вас своей женой . . . и потребую не как за проститутку! . . Кто этот А.?

— Клянусь, не было ничего . . . Стеф! . .

— Не было и телеграмм, клялись! . . К т о?! . .

Она, наконец, сказала. Что тут особенного, самый невинный флирт! В нашем кругу — обычно. Да, он за ней ухаживал, рассчитывая, может быть, на легкую победу, бомбардировал письмами, не раз получал отпор . . .

— А вы так рвались к нему — «на экзамен»! . . трепали хвосты за телеграммами, за письмами «до востребования»! Он вас «бомбардировал» . . . даже военные термины усвоили! . . А теперь пойдут юри-ди-ческие?! . . У, энциклопедическая . . . . .!

Ее полоснуло, как нагайкой. Она вскочила и топнула:

— Как ты смеешь, сол-дат . . . мужик! Где у тебя доказательства?! . . где?! . . как ты посмел так оскорбить меня, как последнюю . . . ?! Где доказательства моей измены?! . . где?! . .

Она уже не говорила: она кричала дерзко, самоуверенно. Округлившиеся от страха, мутившиеся глаза ее теперь смотрели жгучими «вишнями», налитыми играв-

шим соком, с искорками огней. Он чувствовал ее ложь и наглость, верткость и развращенность, — в тонком изгибе губ, в судорожном дрожаньи пальцев, в поднятых на него бровях-мохнатках, в которых — что-то, дремучее, темная тайна женщины, в маленьком, детском, лбе. Этот маленький, ясный лоб, резко подчеркнутый бровями, в девственности своей казался особенно развратным, лживым. С ненавистью и болью смотрел на нее Бураев, стараясь сдержать себя: страстно ему хотелось убить, задушить ее, — и заласкать до смерти.

— Где доказательства?!..

— Молчи! — крикнул он, хватая наган и — остывая.

Боясь, что сейчас случится — чего уже нельзя исправить, он вышел в сад. Было темно, шел дождик, шуршал по листьям. Было тепло, парно березой пахло, горечью наливавшейся сирени. В невидной пойме краснел угольком костер. И таким одиночеством, такой пустотой охватило Бураева в этой унылой ночи!.. Он поглядел на окна. Розовый свет от лампы толкнул его, показался бесстыдным, грязным, — светом притонной комнатки, взятой на полчаса, — бывший его уют! Он пошел от обрыва, чтобы не видеть света. Тыкался по кустам сирени, по вязким лужам. И вот, в тишине разлился гром соловьинной трели. С мокрых кустов в овраге сыпало страстным щелканьем, сладко томило болью.

— Стеф!.. — услыхал Бураев тревожный, молящий шопот.

«Довольно, кончить... все ложь и грязь!» — сказал он себе.

И не ответил на повторенный оклик. Ничего не решив, чувствуя, что решилось, он вошел в комнаты.

— Стеф, пойми же! .. — начала умоляюще Люси, но он оборвал ее:

— С вами, все, кончено! с ва-ми! .. Берите ваши тряпки и . . . вон отсюда! — крикнул он, в бешенстве. — Ваши «полчаса» кончились! ..

—Как вы смеете оскорблять! .. — вскрикнула она дерзко-гордо, но он заглушил ее:

— Молчать! .. Запритесь в вашей поганой спальне, чтобы я! ..

У него оборвался голос. Он схватил со стола фуражку и револьвер и выбежал из дома.

В забелевшем рассвете, в моросившем опять дожде, он увидал себя на шоссе, на седьмой версте. Место было высокое. Впереди, за отлогим спуском, белел монастырь по горке, спускавшийся белыми стенами. Справа, внизу, курилась туманом пойма, река дымилась, и длинный товарный поезд пыхтел, направляясь к городу. Проводив его красный глаз, Бураев опять пошел. Дошел до монастыря, остановился перед гостиницей, где любились с Люси зимой. Подумал — зайти, уснуть? Знакомый служка раздувал на крылечке самовар, пахло дымком приятно, сосновой шишкой. В монастыре звонили, кричали грачи на кровлях.

— Заходите после обедни чайку попить! — крикнул приветливо монашек. — С тепленькими просвирками . . .

Бураеву захотелось чаю после бессонной ночи. Он ничего не сказал и вошел в монастырские ворота. Зачем он сюда попал? — спрашивал он себя, четко стуча по

плитам. И шел к собору. Главный собор был заперт. Монах-садовник, сажавший маргаритки, указал ему низенькую церковь:

— Раннюю-то у нас в «зимней» служат.

В низенькой церкви шла ранняя обедня. Одиночные темные фигуры стояли по простенкам. Когда Бураев вошел, иеродиакон читал Евенгелие. И первое, что услыхал Бураев, давно не бывавший в церкви, были слова Христа: «встань, возьми одр твой и ходи». И дальше, в самом конце, услышал: «...не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Слушал он с удивлением — и отнес к себе.

«Возьми одр твой и ходи»... «Не греши больше, чтобы не случилось чего хуже»!..

Его умилило это. Показалось, что не случайно вышло, что нежданно попал сюда. Что это, — знамение?

В «знамения» он верил, хоть и таил это от себя. Верили все в роду. Мама з н а л а, что она умрет молодой, — было такое знамение. И дед по отцу, Авксентий Бураев, кирасир, сказал секундантам на дуэли, за «цыганку»: «друзья, прощайте! помните — панихиду с певчими!» — и подмигнул прощально. И у отца — свои знаменья. Он дважды «угадывал», что будет ранен, «но это все пустяки, а впереди еще будет много!»

«Разве уж так я грешен?» — подумал с усмешкою Бураев и быстро пошел из церкви.

«Все это дряблость воли, старые выжимки. Надо крепче держать себя и действовать!» И ему стало стыдно, что подчинился какой-то в о л е, зачем-то пришел сюда и ищет каких-то «знамений». Помнилось — где-то читал в романе, что такой же, как он, «несчастный» то-

же вдруг очутился в церкви, и тоже случилось «знамение».

— Потерять голову, от любви?.. К чорту!..

Приостановился перед гостиницей, подумал — не зайти ли: хотелось чаю. Чудилось опять «знамение»: приезжали сюда с Люси, и вот, привело теперь, словно нарочно — ткнуло!

«Что это — грех то было, и должен сознать его? Потому-то и привело?» — с усмешкой опять подумал — и не вошел. Старенький служка его окликнул:

— Что больно скоро, не помолились-то?.. Чайку бы зашли попить!..

Бураев махнул рукой. И опять его поразило, когда старичок — такой-то веселый старичок! — крикнул ему вдогонку.

— Отчаянный вы народ, господа военные... а отчаиваетесь!.. Эх, под дождичек —да чайку попить!..

И так добродушно засмеялся!

Вспомнил Бураев, как этот же самый старичек ласково угощал их чаем, тогда, зимой... принес монастырского медку и все любовался ими. Такой-то любопытный, все спрашивал: давно ли поженились, да есть ли детки, да ладно ли живете... Очень ему понравились. Такой простодушный старичок, душевный. И в голову не пришло ему, что приехали для «греха», а не семейно. Добрый старик, житейский...

И вот — «отчаиваетесь»! И странно, в этом почувствовал Бураев «знамение»: значит — нечего принимать всерьез.

Он пошел бодро, походным шагом. Под откосом шоссе, налево, его обогнал товаро-пассажирский поезд.

«Пожалуй, уедет с этим», — подумал он. — «Если не было ничего — должна подождать меня, не захочет уехать так, не объяснившись. Скорый проходит в десять, а сейчас семь... застану».

Моросил дождь, как ночью, и ехавшие в город мужики глядели из-под рогожек, как офицер в майском кителе шлепал по шоссе, по лужам, в такую рань. Иные предлагали:

— Ваш благородие, подвезу! Чего на дожжу-то мокнешь!..

Но он упорно шагал, как бывало, шагал в Маньчжурии.

Люси уехала, и Бураеву стало ясно: было!

— Очень торопились, — сказал Валясик, — один всего чимадамчик взяли.

Постель была в беспорядке. В столике оставлена записка, наспех: «Измучилась, бегу от кошмара, прощай. Л.»

«Бежала под защиту... Но ведь я же ее прогнал!..

Он старался и отыскать подтверждения, что — было и тут же и опровергнуть их.

«Если — да, зачем же ей приезжать ко мне? Написала бы, ну... прямо открылась бы, сказала... мы же не связаны... Прожила три недели?.. Но бегала же ко мне от мужа?.. Я сам оставил ее тогда, а то продолжала бы! А он вот не оставил...

Нет, к чорту!

Он приказал Валясику принести дорожную корзину и бешено стал швырять в нее все — ее, что попадалось под руку: белье и платья, шубку и пустяки. Швырял и давил ногой. Швырял и думал, в ожесто-

чении, — «вот ее... зажитóе». Вытряс все ящики комода, все картонки — шляпки, цветы и перья, духи и тряпки, чулки, вуальки, какие-то коробки, корсет, перчатки... «Вот ее, за-житóе!» Увидал изорванное письмо — клочочки, застрявшие в щелках ящика. У него задрожали руки... Почерк был тот же самый!

Он разложил на столике, но клочочки все разлетались, от дыханья. Мелькали разорванные слова — «бровки, мои «медведики».. «и всю тебя, Лю...» «и пахнущие гиацинтом...» «летели мы на вокзал... твоя шапочка вдруг слетела...» «и бархатные твои кол...»

— Вот!.. — крикнул Бураев, захватывая воздух, — вот...

Не мог уже говорить, перед глазами пошли круги.

— Селезнев из роты пришел, ваше благородие! — доложил Валясик.

— Дозвольте доложить, ваше высокоблагородие... — услыхал Бураев голос своего вестового Селезнева, — господин фельдфебель послал вспросить...

— Сейчас!.. — крикнул Бураев, схватив клочки.

Сделав распоряжения, он приказал Валясику завязать корзину, дал адрес Машеньки и велел сейчас же сдать багажом на скорый. Умылся, переоделся и пошел в роту на утренние занятия, последние перед уходом в лагерь.

Встретился почтальон и подал ему письмо, от брата Павла. Бураев тут же и прочитал. Подпоручик писал, под большим секретом, что в его жизни наступил важный перелом, дальше он ждать не может... Одним словом, он женится, и надо достать пять тысяч для реверса, а ждать до 28 лет — целых еще два го-

да! «Пожалуйста, подготовь папу, мне как-то совестно объявить ему». Заканчивалось восторженно: «Если бы знал, как она прекрасна! Только через нее постиг я, что такое истинная любовь, что такое для меня — женщина! Я не могу без нее... Все равно, если папа не выручит как-нибудь... — я знаю, как ему тяжело, — прийдется оставить полк и поступить куда-нибудь в канцелярию, но это для меня ужасно. Не знаю, что делать, помоги!!»

— Ду-рак! — сказал в раздражении Бураев и смял письмо. — Ах, чудак!

И вспомнил, что отец так и не ответил ему на письмо о деньгах, хоть и прислал поздравление на Пасху и ящик яблок. И стало ему жаль Пашу, которого он любил. «Но почему же не подождать... чудак! Это — «ужасно»?.. Чудак».

Перед желтыми зданиями казарм он крепко собрал себя и бодро вошел в ворота, отчетливо принимая честь вытянувшегося дневального.

Вот что случилось в жизни капитана Бураева, в его «семейной» жизни, до того майского дня в дожде, когда получил он в собрании узенький фиолетовый конвертик с нетвердым почерком, с мольбой — непременно придти сегодня вечером на большак, — «иначе меня не будет в жизни, клянусь вам!»

IV.

Было не до свиданий. Но заклинающие слова смущали, а случившееся в «Мукдене» самоубийство какой-

то красивой гимназистки являлось, как-будто, знамением. И была еще смутная надежда, таившаяся в словах — «вы все узнаете». Начинало казаться, — и так хотелось! — что есть какая-то связь между этим письмом и — тем.

Вызванный из тяжелых дум окликом своего Валясика — «четвертого половина... в роту, ваше высокоблагородие, не запоздаете?» — Бураев пошел в казармы на репетицию завтрашнего парада. На Большой улице его увидал кативший на паре серых жандармский полковник Розен, остановил лошадей и, звеня шпорами, перемахнул к Бураеву.

— На одну минутку, капитан... доброго здоровья. Мог бы я к вам вечерком сегодня, или мой ротмистр... справочку нам одну?

— Извините, полковник... сегодня-то и не буду дома. А в чем дело?

— Может быть, разрешите, в сквер присядем... самое большее, пять минут? Позволите?..

Полковник, красивый брюнет с усами и — Бураева всегда это удивляло — с Владимиром с мечами и бантом, за военные подвиги, был крайне предупредителен и Бураев позволил, хоть и недолюбливал жандармских. Они повернули в сквер перед присутственными местами и присели на лавочку.

— Вы, конечно, слыхали о вдове Малечкиной, капитан. Так вот... Это могу вам доверить, как офицер офицеру: на днях у нее был обыск. Собственно говоря, она не клиентка наша, а просто ...., и к ней захаживают из молодежи. Оказалось, однако, и другое. В задних двух комнатках у нее иногда собиралась здешняя

партийная молодежь для конспиративных совещаний... интересное совмещеньице, не правда ли?..

— Но, позвольте, полковник, какое же отношение?..

— Одну секунду... Есть показания... вы меня простите, уверен, что тут, просто, недоразумение, что Людмила Викторовна Краколь — полковник произнес в высшей степени уважительно — однажды была у Малечкиной,, хотела ей передать какие-то триста рублей, якобы для детей...

— Простите, полковник... не «якобы», а именно для детей!

— Виноват. Но застала Малечкину пьяной... одну секунду!.. С другой стороны, при сегодняшнем обыске, после самоубийства этой девочки Корольковой, у одного семинариста, постоянного посетителя Малечкиной... и не только из-за «высоких целей», — подмигнул весело полковник, — найдена книжечка, где есть, между прочим, такого рода запись: «от госпожи Л. В. К. — «на просвещение» триста целковых». Причем — «на просвещение» — с кавычками! Мне не хотелось бы посылать в Москву... Если не ошибаюсь, последнее время госпожа Краколь проживает большей частью в Москве? Может быть вы...

Бураеву было неприятно слушать, и теперь ему было безразлично. Но по тону полковника он понял, что косвенно и его припутывают к делу, и это раздражало.

— Кажется, могу вас удовлетворить, полковник... — сказал он сухо. — Триста рублей при мне были переданы госпоже Краколь адвокатом Ростковским для Малечкиной, которую он защищал здесь... для ее детей. Госпожа Краколь ее разыскала, но не могла пере-

дать. Попала в какую-то трущобу., на пьяное безобразие, и соседи помогли ей выбраться. Помнится, она запрашивала адвоката, как ей быть с этими деньгами, и тот просил передать их на какой-то «кружок самообразования» или... «просвещения»! Здешняя учащаяся молодежь, помнится, подносила ему адрес за оправдание этой дряни, так вот... на кружок. Больше я ничего не могу сказать. Обратитесь к госпоже Краколь, в Москву.

— Жаль, что она уехала... и, кажется, сегодня только? Крайне вам благодарен, капитан, — закозырял полковник, — теперь для меня яснее...

И уже другим тоном, как добрый собеседник и общего круга человек, сказал, что случившееся в гостинице «Мукден» поднимает такую грязь...

— Политика тут перемешана с таким развратом... Что только делается! И не у нас здесь только, а повсюду, по всей России! Не о провокаторах я говорю, они были всегда. Правда, не в таком уж количестве... Нет. Я отлично знаю историю революционного движения, у нас богатейший материал... но, знаете... Достоевский в своих «Бесах» изобразил — пустяки, в смысле грязи и пошлости, и по-длости, добавлю! Если бы вам показать н а ш и материалы... на-шу конспирацию... на ч т о идут... и про наше об-щество-с говорю, а не только про «политиков», а-а!.. На ушко скажу вам, как офицер офицеру... десятка полтора господчиков из здешней интеллигенции... у нас работают!

— Ну, это вы, полковник...

— Факт! Из них только трое — по убеждению, когда «убедились» после 905-го и, особенно, после убий-

ства Столыпина. И они — по идее! Прочая сволочь из-за грошей. Грязи накрутилось вокруг ихнего «храма» — я говорю о «политиках» . . . поверите, противно работать даже! Нас-то, я знаю, презирают в обществе, плевать. Я, — поправил полковник орден, а Бураев подумал — и зачем он его таскает, как «присягу», — по характеру боевик, и здесь работаю, как когда-то работал на фронте, а придется — и буду, — так я с омерзением смотрю и хапаю их пачками, не жалко. Словно не с преступной идеей борешься, а с каким-то политическим . . . лупанаром, уверяю вас! Есть и идеалисты, знаю, и, как врага, даже уважаю! Боевиков, чорт их дери, все-таки уважаю. А в общем, идея уже давно охамилась, упростилась до хищного и сладостного спорта, начала вонять! И как-будто уже не нам надо бы тут работать, а, просто, сыскной полиции, уголовной. Революционное, былое «дворянство» отходит, идет самый-то пошлый и гнусный мещанин. От господина Горького, революционер-босяк и подлец. Послушайте-ка, что было . . . как начнет наш отставной генераша Птицын про прошлое вспоминать . . .

На перекрестке они расстались. Бураев повернул на Нижнюю Садовую и только собирался выйти на Косой Тупичек, к казарменному плацу, как из углового домика, со двора, вывалилась кучка чиновников казенной палаты, а одновременно из парадного крылечка вышел знакомый Бураеву по дворянскому клубу статский советник Соболев, начальник отделения палаты, и на минутку остановил.

— Слыхали? Дочурка нашего Королькова, моего столоначальника, застрелилась!

— Да, слыхал. Что за причина?

— Причина... Удар старика хватил, помрет, должно быть. Причины никто не знает, отыскивают, и столько грязи разворотили...

Бураев взглянул на домик, с дощечкой на воротах, которую знал отлично, — каждый день проходил здесь четыре раза, — «Дом Коллежского Ассессора А. А. Королькова», и вспомнил слова поручика. Так вот кто это! Он вспомнил красивую девчушку, с карими ясными глазами, с косами, перекинутыми на грудь: она часто смотрела на него в окошко, и он всегда любовался чудесным цветом ее лица — словно из нежного фарфора. Так вот это кто, Лизочка Королькова!

Бураев искренно посочувствовал и вспомнил о фиолетовом письмеце. Неужели это она? Показалось вполне возможным. По словам Шелеметова, она, очевидно, интересовалась капитаном, спрашивала — «почему он такой суровый?» Письмо могло быть написано и вчера, а девчонка подала сегодня... Вчера он не мог придти, и она застрелилась: «иначе меня не будет в жизни»! Но... причем тут семинарист, гостиница, недопитая бутылка с коньяком, как говорили?.. И подписано буквой «К»...

«А может быть хотела искать у меня защиты?» — подумал он. — «Запуталась как-то, никого нет, кто бы мог помочь... и вспомнила обо мне, часто смотрела из окошка, интересовалась...»

Вспомнился и разговор с жандармским.

— Но что особенно ужасно... — продолжал Соболев, окруженный чиновниками, которые слушали почтительно и кого-то унимали шопотом, — чудесная бы-

ла девочка, крестница моя... и религиозная, и отца как любила! И старик с хорошими устоями... И вот, замешали в какую-то политическую... и грязную историю, — заговорил он шопотом и показал на спущенные в окнах занавески, — обыск сегодня был, все рыли, а старик уж хрипел, а девочка там, в гнусных номерах, где бывают только... Удар за ударом, как...

И тут-то произошло то самое, чему Бураев тогда не придал значения, а вспомнил много спустя. Произошла «пьяная историйка».

Не успел Соболев закончить, как из кучки чиновников вырвался рыжий лохматый человек, в котелке на сторону, лет под сорок, и вытянулся во фронт:

— Здравия ж-лаю, ваше высокоблагородие! ...го саперного батальона, унтер-офицер Никольский! Примите меры, господин капитан, иначе... Дайте мне важный вопрос сказать... извините, я не пьян, а... страдаю! — хлопнул он себя в грудь. — Прикажите принять меры строгости! Только мы можем упрочить... безобразие! Почему допускают, господин капитан? Молоденькая девочка, дочка Алексей Алексеича, моего начальника... почему? Должны хирурги вскрыть, по какой причине... а не обыск! Хулиганы заманили, знаю фамилии... всех этих, ста-,тистиков! И вот, при издыхании на одре, ударом! Нельзя такое безобразие... прикажите рапорт, начисто чтобы!..

Его потянули с собой чиновники, но он вырывался, продолжая кричать — «не допускайте, господин капитан!..»

— Писец наш, — извинился Соболев, — когда напьется, начинает протестовать. Дело, действительно,

возмутительное. Вообще, творится Бог знает что . . . У молодежи нашей нет этого . . . чего-то определенного, какого-то основного, твердого идеала, корня! . . И, вообще, никакого плана, цели, — ни у кого. Несемся куда-то по течению, и скука, и недовольство, и брожение в мыслях . . .

— Да, разброд . . . — рассеянно говорил Бураев, — да, тяжелая история.

— Не знаем, чего хотим. У меня сын кончает гимназию, хороший мальчик и отличный ученик, но . . . и своего-то сына не знаю, чего он хочет, какие у него идеалы, цели . . . спасибо, хоть не «политик»! . .

Бураев извинился — спешит в казармы.

С казарменного плаца доносило звуки отдельных труб и дробную пробу барабанов. Сеявший дождь прошел. В медленно проплывавших тучках сквозило солнце. Завиднелись желтые казармы, с колоннами. Скучные для других, они были милы Бураеву: в их старине и грузности, в четкости строгих линий чувствовался порядок, точность и собранность. Строгая внешность их хранила неведомое другим — священное. В черном чехле на древке, казавшаяся непосвященным «куклой», хранилась душа полка, связанная со всей Россией сотнями сильных лет, блеском российской силы, славой побед и одолений, тысячами живых, сотнями тысяч павших. Души их — в этом Знамени, в гордой душе полка.

Из казарм выходили роты. Слышалось — «на пле . . . чо!» — взблескивали штыки на солнце. Мысли пришли в порядок, отступили, и Бураев собрал себя. Все здесь было ему понятно, нужно: все сводилось к определен-

нной цели, — освящено. Творилось из века в век. Оправдано славным прошлым, бережет настоящее, к будущему ведет бесстрастно. Бураев неколебимо знал: «Слава России — Армия». Слава и жизнь, и сила. И в этом — все. Эту простую истину принял он от отца, от школы: армия создала Россию, ее историю. В это он верил крепко.

«На пле...чо!» — услыхал Бураев звончатый голос Шелеметова, и сердце его вспорхнуло, под взблеск штыков.

— Молодцы! — подумал он вслух, любуясь родною ротой, которая шла по плацу.

«Смирно-о... рравнение напра-во!» — скомандовал лихо Шелеметов, завидя ротного.

— Молодцы!.. — крикнул Бураев весело, пропуская роту, и она четко гаркнула в тон ему:

— Ррады стараться, ваше высокоблагородие!..

Слышались по концам команды, отдавались в пустых казармах. Румяный Зиммель, полковой адъютант, ставил линейных, с флажками на винтовках, бегал, играя шпорками.

— Батальон... сми-рна-а!.. крутясь на своем «Нагибе», кричал подполковник Кожин, которого называли «Дон-Кихотом», за костлявость, усы и эспаньолку. — Слушáй... на кра...ул!

Шла подготовка к репетиции парада. В разных концах по плацу приводились в порядок роты, вливались в батальоны. Вспыхивали штыки и падали, шлепали розовые руки, шаг отбивали ноги — одна нога. И казавшаяся нестройность незаметно преобразилась в

строй, и по великому плацу, по всем сторонам его, выстроились колонны батальонов.

Сбоку, под тополями, сверкал оркестр. Огромный турецкий барабан порой рокотал невнятно, сияя медью. Трубы пускали зайчиков.

Командующий парадом подполковник Туркин, верхом на своем гнедом, крикнул, завидя медленно подъезжавшего Гейнике, принимавшего репетицию парада:

— Полк, сми . . .рно-о! . . . . . шай! . . на кра . . . ул! . .

Всплеснуло четко — и замерло. Музыка заиграла встречу. Туркин подъехал с рапортом. Белая кобыла Гейнике стояла смирно, словно и она принимала рапорт. Гнедой вертелся, потряхивая мордой. Приняв рапорт, командир подал оркестру знак — прекратить, выехал на середину плаца, окинул полк.

— Здорово . . . молодцы N . . .цы!

Полк, как один, ответил. Пустые казармы повторили. Стало тихо. Сопровождаемый Туркиным, штаб-трубачом и ординарцами на конях, командир медленно поехал по фронту батальонов. Теперь он здоровался отдельно:

— Здорово, братцы . . . первый батальон!

Так — по всем батальонам и командам. Красивая его борода по грудь, черная с проседью, развевалась по ветерку. Крепкая, статная фигура, в защитного цвета кителе, внушала доверие солдатам. Он был «простой», — называли его солдаты, — и в ружье не держал подолгу. Но бывало и «погоди-постой», когда налетал «бушуем». Сегодня он был «простой». Закончив быстро объезд полка, он приказал оправиться и попросил батальонных — «пожалуйста, господа, ко мне». Побла-

годарив за исправный вид и выразив полную уверенность, что завтра не подкачают, Гейнике приказал командующему парадом провести полк по-ротно.

Отъехали. Туркин подал команду:

— Полк, смирно-о!.. К церемониальному маршу-у!..

Полк перестроился в колонну.

— К церемониальному ма-ршу-у!.. По-ротно... на одного линейного дистанцию, первый батальон!..

Командир первого батальона подполковник Кожин, выехав перед фронт, скомандовал:

— К церемониальному маршу!.. Ба-тальон... на пле...чо!

Вскинулись и легли винтовки. Офицеры блеснули шашками, на плечо.

— По-ротно-о... На одного линейного дистанцию... первая рота, ша... гом!..

Командир первой роты капитан Ростовцев, повернувшись к фронту, скомандовал:

— Первая рота... р-равнение направо... ша-агом!..

Повернулся спиною к роте. Командующий парадом подполковник Туркин и командир первого батальона подполковник Кожин враз опустили поднятые над головою шашки, и ротный закончил резко — ... марш!

Бухнул турецкий барабан, ударили литавры, и под любимый марш Гейнике — «Под Двуглавым Орлом» — крепко и широко печатая, двинулась плотно рота, бросая в гремящий воздух восторженное, ревущее — рра-а... рра-а... рра-а...

И когда вел 3-ю свою Бураев, беря «подвысь» и салютуя «к ноге» сверканьем, проходя мимо Гейнике, ма-

товое лицо его строгими синими глазами впивалось в командира, отдавая себя — на все. Рота несла его. Сотня ее штыков сияла единой сталью, сотня голов глядела одним лицом, сотня грудей дрожала единой грудью.

— Спасибо, молодцы... тре-тья-а!..

Громом гремела рота, и все, что было его, Бураева, что терзало его страданьем, потонуло в стихийной силе, которая шла за ним. Эта сила несла его. Сердце его захолонуло, остро всего пронзило, и в синих его глазах, гордо смотревших вправо, было одно: мои!

Церемониальный марш кончился. Офицеры стояли группами. Батальонные командиры выслушивали полковника. Фельдфебели по привычке тянули взводных. Бравые взводные, в чертовски заломленных фуражках, чем-то корили отделенных, и, как бывает почти всегда, попадало левофланговому — «за штык»:

— Чего у тебя на плече, штык или...? Чисто цепом мотает, всю роту гадил!

— Я тебе, Миньчук, натру пятки... Идет ровно в сопле запутался?..

— А как нас хвалил-то, господин отделенный?..

— За тебя и хвалил... какой у вас, говорит, Миньчук... в лукошке пляшет!

А в толпе, окружавшей плац, около кучки гимназистов на возрасте, пьяный писец Никольский рвал за обшлаг худощекого молодого человека, в пенснэ и с книжкой какого-то журнала:

— Идемте в полицию, не дозволю оскорблять господ офицеров! Я вас зна-ю, лепартеров-стати-стиков! Какие вы иронические слова сейчас?.. а?! «Дурацкая

игра... в солдатики»?! Про... армю нашу? Я сам саперного батальона, стою на стра-же... внутренних врагов... идемте!

Его оттолкнули подоспевшие семинаристы, но он продолжал кричать:

— Господа офицера, берите его, с. с.!.. Чта-а... побежали, японцы? А вот заявить губернатору... смуту в народе делают!..

— Дал бы в ухо — и ладно, — сказал тоже смотревший парад штукатур, в известке. — Что мы, не знаем, что ли... Я сам ефрейтор третьего гренадерского Перновского короля Фридриха-Ви-льгельма четвертого полка, девятьсот второго году. У нас таких в Москве как лупили... в пятом годе!..

— Я сам саперного батальона унтер-офицер! А вот дам тревогу...

Он подбежал к барабанщику 16-й роты, который курил на барабане, и затопал:

— Бей тревогу, чего вы смотрите!..

— Уходите, господин... тут вольным не полагается, — сказал барабанщик, сплевывая.

— Я не вольный, я сам... саперного батальону!..

Послышались команды — смирно!

Командир полка приказал: по Нижне-Садовой, с песнями.

— По-батальонно, сомкнутыми колоннами!.. Ро-ты, повзводно!..

— Правое плечо вперед... ша-гом... марш!

Тяжелая черная колонна, в серых скатках через плечо, с лесом штыков над нею, стала грузно спускать-

ся с плаца. С Нижне-Садовой катилась песня. Первый, кожинский, батальон пел:

Стройся гва-а-ардия в колон-ны,
Гренадеры, строй каре...
Со восхо-о-оду слонце све-э-тит,
Госуда-а-арь приедет к нам...
Он прие-э-эдет — нас проздравит
И кресто-о-ом благословит!..

Третий батальон еще отбивал шаг на месте, а снизу летела песня. Второй батальон, подполковника Распопова, пел лихо:

Он убит — принакрыт
Черною китай-кай...
Приходила к нему баба,
Жена моло-да-я,
Китаичку открывала —
В лицо признава-ла...

Издалека, чуть слышно, врывалась песня с подсвистами:

На горе родилася,
В чистом поле выросла,
Эй-ей, е-ха-ха,
Эй-ей, е-ха-ха!..

Четвертый, полковника Краснокутского, певучий самый, спускался с плаца, а третий, туркинский, отхватывал лише всех:

Чриз закон он приступил,
Бритву-ножницы купил...

Бритву-ножницы купил,
Себе бороду обрил...

Себе бороду обрил,
У француза в гостях был,
Француз яво не узнал,
Рюмку водки наливал!..

Первый батальон уже поднимался с другой стороны казарм, а четвертый, с выщелкиваньем и свистом, с угольниками и гиканьем, с лихим запевалой впереди, пел-гремел:

Скажи-ка мне, служивый,
И с чей ты стороны...
Йех, с матушки-Расеи,
С поля — с бороны!..
Йех, чом-чом!
Нипочем-нипочем!..
Матушку-Расею
Ня т-дам нипочем!..

Доведя свою третью до казарм, Бураев остановил ее, окинул довольным взглядом всю нацело, от правофлангового великана Степана Кромина до левофлангового, низкорослого крепыша Семечкина Егора, живую линию ясных глаз, глядевших на него с доверием, бронзовых, крепких лиц, — и крикнул:

— Спасибо, братцы!

Получив радостное и крепкое «рады стараться», он дал Федосеичу, фельдфебелю, три рубля: «на ситники им, на завтра!» Это он всегда делал, когда был доволен ротой.

Взглянул на часы: четверть восьмого, скоро начнет смеркаться; за Старое кладбище, на большак, не близко. После бессонной ночи и беспокойного дня он почувствовал страшную усталость, а не пойти было невозможно: таинственное письмо тревожило. «Иначе меня не будет в жизни!» Он позвал своего вестового Селезнева и приказал подать на квартиру «Рябчика», сейчас же. Взял извозчика и поехал домой одеться: к вечеру сильно засвежело. Проезжая мимо домика Королькова, он ярко вспомнил милую девочку с косами, бывало глядевшую на него в окошко. Окна были завешены. Сквозь давившую его с в о ю боль он почувствовал боль иную — острую жалость к девочке и незнакомому старику — отцу. Вдруг показалось, что как-то он связан с ними . . . Он даже оглянулся на тихий домик, и домик чем-то сказал ему — да, больно. Болью своею связан, — это почувствовал Бураев, — болью . . . И совсем глубоко, под болью, почувствовалось ему, как облегчение, что з д е с ь — страшнее. И в его памяти острой тревогой встало, как разделяющее — или объединяющее, — две боли: «иначе меня не будет в жизни, клянусь вам!» — «вы в с е узнаете».

Не доезжая до тупичка в садах, Бураев встретил Валясика. Денщик подбежал к нему и подал телеграмму:

— Толко что подали, бежал к вам, ваше высокоблагородие! . .

Бураев разорвал пакетик, руки его дрожали. Телеграмма была от Машеньки: «Буду завтра три часа, необходимо переговорить, М.».

V.

Бураев ожидал другого. Он вдруг поверил, что случилось чудо, что эта телеграмма все изменит. Даже непонял сразу, кто это М. Перечитал — и понял: Машенька приедет, и ничего не изменилось. Он скомкал телеграмму и бросил в лужу. Вся «грязь», чем-то уже прикрытая, опять открылась. Для чего приедет? вакансия освободилась? . .

— Все-то они . . .! — выругался он. Извозчик обернулся и весело заскреб под шляпой. — Пошел! Нет, слезу.

Пошел по тупичку садами, так легче.

— Валясик, есть чего-нибудь, скорей! Я сейчас . . .

С позеленевшей поймы ползли на город дождевые облака, тянули скуку. Темные с дождя сады сквозили, унылы, пусты. Вишни отцвели, еле заметно зеленели; яблони еще не распускались. Не разбирая, Бураев шагал по лужам.

«Это для чего же она приедет? Своего добиться? тогда не вышло, а теперь вакансия освободилась? Все-то они на одну колодку . . . .!»

С Антоньева монастыря, под горкой, лился перезвон. Перезвон напомнил: «это еще «свиданье» . . . надо!» В восемь, как стемнеет. Не пойти нельзя. Он помнил выражения письма, мольбу, угрозу: «Вы должны придти . . . иначе меня не будет в жизни, клянусь вам!» Что-то тревожило его, в «свиданьи». Казалось — призрачным? И почемуто — за старым Кладбищем. Кладбище, свиданье, — что за фантазия! В романах только . . .

После кошмарной ночи и волнений дня, чувствовал он себя изнеможенным, и все теперь казалось призрачным, как-будто. Свиданье... Кто-то угрожает, молит: «вы должны придти, вы *все* узнаете!» Сады темнели,, что-то в них таилось, в пустоте. Бураев осмотрелся. Призрачные сады, как *тот*, обманный, со следками в луже. Сады кружились, наступали...

Такое с ним случалось после боев, в Манчьжурии. Кружились сопки, стены гаоляна наступали, — призрак?

«Если бы *все* было... только призрак!» — подумал он.

Боль прикрылась, а эта телеграмма опять раскрыла.

«И пускай приедет», — старался унять боль Бураев, — «эта без фасонов, напрямки: хочу — и баста!»

Он вспомнил Машеньку: ее ласкающую нежность, податливость, бойкие глаза бабенки с головкой египтянки, вольность платья, пушок над губкой, толкавшую коленку... В нем загорелось нетерпенье.

«Съездим в монастырь, чудесно! Все они такие... а, плевать!..»

Он задрожал от страсти, от желаний. Такое с ним бывало после больших волнений, — разряжалось в страсти. Он встряхнулся, глубоко вздохнул.

— Весна! Какой чудесный воздух! Эх, махнем в луга!.. Держись, Степашка... жизнь, брат, в кулаке, а не под юбкой!.. — крикнул себе Бураев. — Стреляться, что ли, как эта славная девчушка?!..

Он вернулся к себе, спокойный.

— Без вас господин приходил, ваше высокоблагородие, — доложил Валясик, — шибко добивался.

— Говори толком. Чего добивался? .. — взволнованно спросил Бураев, связав с *своим*. — Какой он из себя? ..

— Скажи барину, сказали ... будет им приятно!

— Приятно?! Да ты что ... пьян, что ли? Что — приятно?! ..

— Не могу знать, ваше высокоблагородие! Хоть бы в одинадцать часов зашли, а будет, говорит, приятно! Да он, ваше всьюкоблагородие, вроде как не в себе, не стоит на месте ... за бородку все хватался, тормошился ... чернявенький такой.

— Да чорт ты этакий! .. — вскричал Бураев. — Что — приятно?! ..

— Не сказали. Приходить велели. Они, говорит, меня знают! Говорит, книжки у них брали ...

— Так бы и сказал.

Бураев понял, что это был Глаголев, Мокий Васильевич, или «Мох», как его звали гимназисты, учитель. Почему — приятно? В нем, было, вспыхнула надежда — и погасла.

Курчонок попрежнему лежал на блюде. Не садясь, не сняв фуражки, Бураев стал глотать кусками. Выпил водки, не замечая — сколько. Свиданье это! ..

— Приготовь сюртук! — крикнул он денщику.

«Дело совсем не в том, не в этих бабах ... все это только так, придаток. А главно ...»

Сколько раз, при неудачах, старался успокаивать себя, что «это совсем не главное, а главное еще придет. И никогда не мог определить, да в чем же главное? Это помогало. Выпил еще, и стало проясняться.

Вспомнилась девочка с косами, Лиза Королькова, кареглазка, фарфоровое личико, всегда в окошке.

«За что погибла! Застрелилась... Славная девчушка. Не думал, что я ей нравлюсь... Завтра свалят в яму... Жить — вот оно, главное! Каждая минута жизни — вот главное!»

Вспомнил, как Машенька писала: «кажется мне, что ты вот и есть «по настоящему».

— Валясик!.. — крикнул Бураев бодро. — Слушай. Эти тряпки на дверях — ткнул он в портьеры, — снять! И шкуру выкинь... отдай старьевщику! И всю эту дрянь со стен — долой! Вернусь — чисто чтобы было, как у нас раньше, когда в Солдатской жили! Понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие! Продать прикажете?

— И зеркало это, к чорту! Там мы должны что-то мебельщику... отдашь. Стой! Он налил водки. — На, выпей за мое здоровье.

Чего-то душа искала. Не было никого, один Валясик. Такое всегда случалось, как «заскучает» барин, — знал Валясик. Было и на войне, в Манчьжурии, когда захватили батарею, и бураевские стрелки били прикладами японцев, и «башки у них лопались, как яйца». Валясик помнил, как капитан, тогда поручик, сидели на зарядном ящике и терли рукавом коленку, замазанную, словно, тестом; тер и стучал зубами, «даже страшно». Подошли кухни, и Валясик принес консервов и бутылку с чаем. Поручик отшвырнул консервы и поглядел так страшно, «словно убить хотели». И «чужие» были глаза у барина, «словно они не тут». Потом затихли. Сказали только: «не надо мяса». «Выпили из японской

фляжки и мне велели: «выпей за мое здоровье!» Так и теперь вот. Валясик понял, что по барыне скучают. Вежливо взял стаканчик.

— Быть здоровым, ваше высокоблагородие.

— Постой... — остановил Бураев, думая о чем-то.

Он поглядел на денщика и понял, что тот его жалеет. По глазам заметил? Может быть, вспомнил что-то? Оба видали страшное, видали гибель. Через войну связало.

В эту тяжелую минуту Бураеву мелькнуло, что этот подслеповатый и всегда заспанный, — единственный, ему здесь близкий. В нем мелькнуло это, когда Валясик сказал особенно, душевно: — «быть здоровым!» Немного запьяневший, Бураев чувствовал потребность братства.

— Как, Валясик, по-твоему... — смущенно сказал он, с усмешкой: — все, брат, не важно... это?..

Никому бы так не сказал Бураев.

Валясик думал, не зная, как ответить. Такое не раз бывало; и он, по привычке, понял, что это себя спрашивает барин. Понятно — совсем не важно.

— Не важно, а? — Бураев еще выпил. — Ну, дела эти... ну, как там у вас, ну... с бабами? — выговорил, смутясь, Бураев.

Валясик постеснялся, ухмыльнулся.

— Никак, ваше высокоблагородие! — четко ответил он. — Тут и делов нет, а... как назначено.

— То есть, как назначено? Не по-дурацки ты отвечай, а...

— Как так я не отвечаю, ваше высокоблагородие! Ежели бы женаты, а то баловство, по-нашему. Будто

на закуску. Ну, сходил в баню, помылся, — все и смылось.

— Так-так... — подбодрял Бураев. — Помылся?..

— Да ей-богу, ваше высокоблагородие! Не подошла нарезка, другую гаечку подобрал — жи-вет. Как назначено... Ходи веселей, любись — не жалей!

— Не та нарезка?.. — захохотал Бураев.

— Да что... понятно, не пуля в глаз! Мы с вами, ваше высокоблагородие, не то видали.

— Верно. Не пуля в глаз. Ты, брат, му-дрец, мошенник!.. Ну, пей за свое здоровье.

Вестовой привел «Рябчика».

Идя в спальню, Бураев задержался у портрета. Остро воняло шкурой, — всегда попадалась под ноги. Он отбросил ее ногой, зажег против воли спичку и по смотрел. Милое, ненавистное лицо показалось ему другим: что-то в нем было новое, чужое, — враждебное. Догоревшая спичка напомнила о себе ожогом. Он не зажег другую, споткнулся опять на шкуру и наподдал. В темноте что-то зазвенело и разбилось.

— Вон этот весь б.....! — крикнул Бураев, в бешенстве. — Валясик, все к чортовой матери, сейчас же!..

В спальне было совсем темно. Он зажег розовую лампу. Розовый свет ее — сладкий, фальшивый свет «гнусной притонной комнатки, взятой на полчаса», остро ему напомнил вчерашний вечер. Он резко сорвал колпак, поглядел с отвращением к постели. Атласное голубое одеяло не свисало, все было чинно и прибрано. Увидал «Клеопатру» над постелью, голых «рабов мидийских», купленных на толчке. Это когда-то нрави-

лось. Пахло ее духами, самыми подлыми на свете... Он распахнул окошко. Сумерки уже загустели, чернело ночью. Дождик шуршал по листьям, чвокали соловьи в обрыве, пахло по банному березой, душно. Сирень начинала распускаться, веяло тонкой горечью, сладких надежд и счастья.

Бураев почувствовал усталось, лег на кушетку и забылся. Перезвон от монастыря вырвал его из сна. Он взглянул на часы, — вот, странно: две минуты всего и спал, а будто в монастыре он был? Множество маргариток видел, больших, как астры. Что-то... монах, как-будто?.. Вспомнилась утренняя церковь и возглас — «знамение»: «не греши больше... случится хуже!» «Вот, навязалась глупость!» — подумал он, — «чем это я грешу?.. Пошлая мистика, остатки...» И начал поспешно одеваться. «А на «свиданье»-то опоздал. До--ждется».

Одеваясь перед окном, Бураев увидел зарево. «Должно быть, пожар в Олехове». Темное небо раздавалось, клубилось дымом. Дождь превратился в ливень. «Хорошее «свиданье», — подума он. Вспыхнуло голубым над поймой, погромыхало глухо. Зарево расплывалось ярче. Ливень внезапно кончился, рваная туча убегала, зарево подымалось выше, мерцало в лужах. «Пожар здоровый, не фабрики ли горят?..» — высунулся в окно Бураев. — «Чудесно... какая свежесть! Кстати и освежусь, проедусь».

— Приказ не приносили? — спросил он вестового. — Поручик Шелеметов в роте? подчистились?

— Так точно, их благородие только-что пришли. Выкладку проверяют, ваше высокоблагородие. Так что, у нас тревога...

— Что такое?.. — спросил Бураев.

— Войсков губернатор затребовал. В Олехове, писарь говорил, фабричные бунтуют, 9-ю роту посылают, для усмирения... видал, вестовой за их благородием штабс-капитаном Артемовым погнал, срочно!

«Эх, мою бы!..» — подумал досадливо Бураев. — «Артемку посылают... трясти брюхом!»

— Должно, так и есть, ваше высокоблагородие!.. — сказал Валясик. — Пожар-то в Олехове, самое это место... Горит шибко, верстов шесть, не больше.

В отсвете дальнего пожара слабо мерцала пойма; рваные тучи светились розовым.

— Нефть не подожгли ли, больно ясно?..

— Нагайку! Можешь идти, — сказал Бураев ждавшему приказаний Селезневу.

Радостно фыркал «Рябчик». Бураев ласково потрепал, тихо подул на ноздри. Подул и «Рябчик», всегда ласкался.

Бураев сел.

— Приеду, должно быть, поздно. В случае, после десяти найдешь меня у Глаголева, учителя... запомни: Мало-Садовая, 15. Если из полка что важное. Слушай: т у постель вынесешь из спальни, постав походную, складную.

— Так, точно, хинтер! — весело подтвердил Валясик.

— И всю муру. Портрет на подставке... в печку! Понял?

— Так точно, понял. Счастливо ехать, ваше высокоблагородие! Полыхает-то . . . прямо, светло ехать.

Бураев оглянулся: пожалуй, что нефтяные баки. И пустил «Рябчика» галопом.

VI

Выехав на Московскую, Бураев перевел «Рябчика» на рысь. Сеял дождик, от городского сада душисто пахло тополями. Зарево и здесь светилось, сквозь деревья. На перекрестках топтались кучки горожан, шептались У губернаторского дома стояла тройка и верховые. Все окна были освещены, как к балу. Попался на извозчике дежурный по караулам, капитан Гуща, . . .го полка. На гауптвахте, под каланчей, вызвали ударом в колокол — «в ружье». «Что-то зашевелились», — подумал весело Бураев, и бодро пробежало в сердце. Стражники прошли к заставе на-рысях. Бураев похвалил посадку: старые кавалеристы. Прямо по мостовой шли кучками гимназисты и свистели. Кто-то крикнул: «сеньор, куда стремитесь?» Бураев взял по переулкам, в обход Московской. Здесь было тихо и пустынно. В домиках с садами уже закрыли ставни, светились щели и сердечки. Где-то играли на рояле модное танго — «Маис». За глухим забором справляли вечеринку, орали пьяно:

А наш р-русский мужи-и-к,
Коль рр-рабо-тать невмо-ччь . . .

Тихие улочки напоминали прошлую весну, когда таились от людей, искали встречи. Отошло. Осталось

лишь воспоминание — о боли. Легко на сердце — значит, так и надо. В самые жгучие минуты страсти он чувствовал разлад с собою, с чем-то. Это что-то тревожило его вознею, будто говорило: нет, не то. Вело, как «компас». В трудные минуты в нем взывало, он кого-то звал, кто мог направить, указать — как нужно. Смутный ли образ мамы? Он не знал.

Кто-то его окликнул:

— Кто при звездах и при луне... так поздно едет на коне? Вот как кстати!..

Он признал учителя Глаголева: изредка заходил к нему, брал книжки для подготовки в академию. Маленький Глаголев махал зонтом:

— На два слова!

— Здравствуйте, Мокий Васильевич, — сказал Бураев, подъезжая. — Очень спешу, простите... Что скажете хорошего?.. Вы у меня были?

— Был-с. И еще был бы-с, если бы не встретил. — Он огляделся и понизил голос, зашептал: — Хоть к десяти... хоть к одинадцати, ко мне?.. О-чень-с нужно-с... уверен, будет вам приятно!.. а?

— Слышал и про «приятное», мой Валясик что-то...

— Да уж... Должен сейчас подъехать, из Москвы-с... самый интересный человек, даже, можно сказать, единственный в своем роде... помните, говорил вам... Гулдобин-с? об «основах жизни»-с? Положительно необходимо, чтобы прослушали и... Общественное безразличие-с растет! Так вот. Мы должны... осмотреться и научиться, делать дело! Будет несколько человек, верных... с дорог и торжищ, ибо «много званных, мало же избранных», да-с. И без всякой...

— он суетливо осмотрелся, — политики-с! И события обсудим.

— Какие события?

— А Королькова застрелилась! Накрыли пятерых-с. И не одни «огарки», уловлены-с... Двоих из моих учеников накрыли-с, всюду обыски-с... увидите на уголке, на Ключевую. Прохожу сейчас — у Горенкова обыск, земского секретаря... попали в гнездышко!.. Не думайте, у меня обыска быть не может, можете быть покойны-с... будет только приятное. Умница такой, независимейший ум... Гулдобин-с!..

— Да я нисколько и не думаю, и не боюсь!..

— Конечно-с, вам чего же опасаться! Только я к тому, могли чего подумать, что у моих учеников-то... и военные, вообще, избегают... Не поли-тика, а чисто философские беседы, нащупывание... духовной почвы для общественного пробуждения воли к познанию нас, нас, нас-с!.. тыкал себя Глаголев пальцем. — И вот что знаменательно... Вы и Гулдобин совпадаете! Как? А вот: помните, мы с вами о «российской общественности» рассуждали, для сочинения — «Что есть общество»? — в связи с «Горе от ума»?.. Это вам для вашего экзамена... А я теперь вижу, что это нам нужно для нашего экзамена, который нам предстоит-с! И вы тогда очень верно обмолвились, я тогда даже в книжечку занес ваши воистину «священные слова»!.. Не помните?..

— Не помню что-то... там поговорим, — сказал Бураев, чтобы отвязаться. — Очень спешу, простите...

— Хоть и в одинадцать, для вас никогда не поздно. А я о-чень помню. Чему назреть, оно само рождает-

ся... Так ждем!.. — замахал зонтиком Глаголев, по бежал.

«Какой-то полоумный», — подумал, продолжая путь, Бураев. — О каком-то «властвующем Христе», кажется, недавно говорил на улице... Что такое, о чем «обмолвился»?.. Что надо властно заставить «общество» выполнять «основы» государства, как всякую повинность?..»

Уличку загородил полок и два извозчика. Впереди еще стояла пара. Городовой и двое в вольном держались у забора. Бураев приостановился, что-то вспомнив. Да, обыск!.. Окошки домика светились, там ходили. Он хотел проехать, но тут парадное открылось, кто-то выпрыгнул и резко крикнул:

— Как вы смеете, пихаться?!.. Прошу вас обращаться вежливей, я еще не арестант вам!.. И протестую против насилия над личностью! На-халы!..

Вышли два жандарма, с фонарем и ворохами папок. Кто-то в вольном нес ящик — видимо, тяжелый.

— В чем де-ло, что т-такое... кто «на-халы»?.. — послышался ленивый голос, очень четкий.

Вышел жандармский ротмистр Удальцов, высокий, головой всех выше; за ним судейский, низенький и быстрый, за ними — трое, понятые, — смотрел Бураев. Сзади опять жандармы с ворохом бумаг и книжек.

— Я протестую!.. — крикнул истеричный голос, с кашлем. — Ваши жандармы меня бьют... толкнули... у меня бок болит!.. Это же прямое издевательство над...

— Успокой-тесь, господин Горенков, — сказал, закуривая, ротмистр. Бураев его знал: тяжелое лицо, по-

хожее на маску, рыжие, густые брови, как будто накладные. — Ваш протест мы запротоколим ... там, будьте уверены. Кто их толкнул, Пахомов? — крикнул, уже сурово, ротмистр.

— Да я, ваше высокоблагородие, сам споткнулся на порожке ... их и задел маленько, а не толкал! — ответил голос. — Никак нет!

— Ложь, я протестую! — крикнул с извозчика Горенков, — двое меня ткнули кулаками, в бок и в спину ... нахалы ваши!

— Да как же я их мог толкнуть, ваше высокоблагородие ... выемку мы несли, с Гуськовым! Как же это можно ... кулаками? ..

— Не знаю ... но чем-то меня толкнули, острым! Углом папки! .. Я заявляю категорически!

— Зна-чит, не кулаками? Кто же ... лжет? — невозмутимо отозвался ротмистр. — Папка, полагаю, не кулак.

Он сел в пролетку. Судейский что-то ему шептал, нагнувшись.

— Вахрамеев, останешься в квартире. Огонь оставить. Прикройте ставни!

— Ваше высокоблагородие, за ворот они меня схватили ... Гуськов видал! — плаксиво доложил жандарм с пролетки. — Мы с ними осторожно, а они ...

Бураев видел, как арестованный схватил жандарма. Не мог сдержаться:

— Солдат прав, ротмистр. Я видел.

— Здравия желаю, капитан. Благодарю вас.

Ротмистр и Бураев откозыряли.

— Видите, дела какие! — пожал плечами ротмистр. — Взяли с «икрой», ершится, и еще, видите ли, протестует. Окоротите ему руки... да слегка! — сказал он резко. — Там, — показал ротмистр на квартиру, — принимал позы благородства, Чайльд-Гарольд! А потемней где, да кто попроще — за ворот.

— Прошу не издеваться!.. — крикнул истерично Горенков. — Я вам не объект насмешек, а субъект и личность!..

— Подозрительная личность. Трогай!

— В морду плюется, ваше высокоблагородие!.. — закричал жандарм.

— Палачи!.. нахалы!.. ложь!.. — закричал Горенков, — у мнея кашель... душит... я плюнул! .

— Прямо мне в глаз плюнул, Гуськов видал... в самый глаз угодил харькотиной, вашевскородие... тьфу!.. С ими вежливо, а они как с собакой!..

— А еще социал-демо-крат! — сказал жандармский. — В «на-род» плюетесь!..

— Поймите, у меня туберкулез... я кровохаркаю, а не!..

— А водку пьете, при туберкулезе вашем? — усмехнулся ротмистр. — Шрифт и две бутылки водки, укромно, рядом! Кровохарканье, а полупьяны? Доктор констатирует сейчас... туберкулез. Трогай. Кстати, капитан... Когда я завтра мог бы к вам... только, конечно, не в полк, если позволите?

— Ко мне?.. — Бураев вспомнил беседу с Розеном. — Да утром, не позднее девяти... или после трех. Завтра у нас парад.

— В таком случае, разрешите утром?..

Они расстались. Бураева неприятно удивило: опять жандармский? .. Какие-то все петли, — что за чорт! Часы показывали — без четверти девять. На «свиданье» он опоздал. Да и не верилось в «свиданье» — призрак. Выехав к шоссе, он пустил «Рябчика» вольнее. Зарево горело ясно, стало шире. Тучи над головой светились. За семинарией, перед заставой, Бураев обогнал пролетку с кучером-солдатом. Ехал к себе домой сам батальонный, подполковник Кожин — «Дон-Кихот», староста полковой церкви, — должно быть ото всенощной. Опять задержка: любит подполковник побалакать.

— Куда это, Степанчик, на дождь-то глядя ... не к нам ли? — остановил солдата Кожин. — Или в Олехово? Там сегодня жарко, ишь как раздирает! А, прогуляться ... Что же это нас-то позабыл, носа не кажешь?

— Так все как-то, господин подполковник ...

— О-чень понимаю, братец. Слыхал, понятно. А часто вспоминали: пропал Буравчик. И все-таки напрасно, стесняться-то. Какое кому дело! И Антонина, и все соскучились. Антонина моя ... — моргнул подполковник, — поняла мою идею! ..

— Какую? — не разобрал Бураев.

— Усадьбу отвоевать у банка. Старается. Начала давать уроки музыки, трудится вовсю. Все-таки цель жизни! О-чень будет рада. Т е п е р ь-то уж чего же, стесняться-то ... никаких условностей, в сущности, для нас и не было, но ... я понимал, конечно. Эх, молодежь ... закрутит голову! .. Давай слово: назад поедешь — завернешь. В гости еще? Плюнь. Так-то, братик. И поговорим, — батальонный кивнул к солдату, — про разные истории. Покажу тебе цыплят, плиму-

ты . . . у Зальцы против моих ни к чорту. От графа Шереметева! Приказываю: мимо не проезжать! Угощу вишневкой. Пошел. Вон и палаццо . . . не забыл?

— Что вы, господин подполковник! И сам соскучился, ей-богу.

— Некогда скучать-то было, знаю вашу братью.

Бураев пропустил пролетку, поехал шагом. У заставы пролетка завернула к полю, и до Бураев донесся гулкий удар из сада, такой знакомый. Он любил бывать в усадьбе: так по родному! Подумал: какая стала Антонина? . . Вот и случай: поехал на «свиданье». Вот — свиданье.

Все говорили: ну какой военный, «Дон-Кихот», быть бы ему помещиком. И верно. Батальонный арендовал чудесную усадьбу, с фруктовым садом десятины на три, с старым дворянским домом, принадлежавшую когда-то знаменитым в губернии дворянам Пронским, а ныне — банку. Дом был очень ветхий — «старое гнездо», видал французов. Кожин его поправил, и стало сносно. Были у него породистые куры, которых он посылал на выставки; были молочные коровы, «от Верещагина», он ставил молоко больницам; были, особого откорма, будто на солдатском хлебе, «кожинские свиньи», — всех, сколько ни доставь, все забирала московская колбасная Белова, — только дай.

— Говорят, с садами плачут. Вра-нье! Делай все первый сорт, — бывало, объяснял Бураеву подполковник, — и в кармане деньги. Рота у тебя первый сорт, и сам ты первый сорт? Спи спокойно — и корпусной не страшен. И в хозяйстве то же. Сад освежил, сволоту выкурил, — яблочко стало чистое. Еду к самому Эйне-

му — желаете? Эйнемский мармелад известный! Немцы, тут уж не изловчишься. Удивились: солидный офицер и... яблоки! Дал им на образец пудиков с десяток, сварили. Телеграмма: три тысячи пудов! В-вот-с.

Антонина всегда молчала когда подполковник восторгался. Она вставала и тихо уходила.

— Нет денег? Правда. Значит, бу-дут. Через пять лет, одного меду тысячи на три буду... Арендую у семинарии пол-сад, дело намазу. Его преосвященству маслице мое по вкусу. Артоса мне прислал, три фунта! Недавно осиял визитом. Лестно им: штаб-офицер и... их помазки, староста церковный... все-таки благодать имею! Ну, сливок посылаю для пломбиров... простокваши. Буду с садом! Поелику, говорит, вы такой хозяин, значит, и командир благоразумный!..

Бураев бывал не из любви к хозяйству.

Это началось тому лет семь. Он вернулся с Дальнего Востока. В его отсутствие в полк прибыл новый батальонный, перешел в провинцию — «из-за хозяйства». Бураев ему представился в первый же день приезда и получил нежданно приглашение: «ко мне обедать!» Он явился. Странно: никого не приглашал к себе подполковник. Денщик сказал, что барин играют с барышней в саду, с ними и барыня, и там и кушать будут. Бураев пошел искать по саду. Сад огромный. Барыню он представлял подстать подполковнику: костлявой, длинной, лет за сорок; батальонному — за пятьдесят, пожалуй. Интересовался: барышня какая? И увидал ее... Она стояла с крокетным молотком, на солнце. Он остановился. Это было в мае, в разлив цветенья. Среди цветущих яблонь, она представилась ему «виденьем»,

— «перламутровым виденьем». Вся — в озарении цветущих яблонь. Такой он вспоминал ее всегда. Он совершенно растерялся, снял фуражку. Она кивнула. Он спросил, в восторге: — Простите . . . ваш папа здесь, в саду? . .» Словом, он страшно растерялся. Как она смеялась! Смех ее был прелестный, свежий, необыкновенный. Он только помнил, как качался молоточек, как все сияло. Она сказала — голос был грудной и сочный: «Подполковник сейчас придет. Он с нашей девочкой червей снимает. А пока . . . вот мама!» — сказала она очаровательно. Бураев готов был провалиться. Что-то бормотал — «простите . . . толко что приехал . . .» Она очаровательно простила, усадила в кресло, — он чуть не повалился с креслом. Она сказала: — «Да, мама . . . вот этой баловницы, нашей детки-Нетки . . .» — нежно притянула к себе девчушку лет восьми. Подошел подполковник. Смеялись, и Бураев совсем освоился. Этот «комплимент» не забывался. За шахматами, когда зевал Бураев, батальонный напоминал: «капитан, известно . . . комплиментщик!»

Тогда ей было двадцать семь лет, он точно помнил. Был ли влюблен в нее? Больше: он благоговел и любовался. В ней было что-то, напоминало чем-то маму. В ней сливались — и светлый образ мамы, и женщина, От мамы — ласковая нежность, грусть . . . Любуясь в тайне, он чувствовал порой тревогу. Поймав себя на мысли, как она стройна, какие у ней плечи, шея, — он укорял себя в кощунстве. Один, он вызывал ее мечтами. И она являлась — стройная, высокая шатэнка, «античная», с прекрасными косами вукруг головки. Всегда спокойна, холодна, строга. Он называл ее — Юнона.

Тонкое лицо — фарфор. Глаза — неуловимо-грустны, «девственны», стыдливы, с легкой синью. Милые глаза. Что-то с в о е хранили. Юная — Юнона. В ее дыханьи, в ясном взгляде, в ее движеньях, в голосе, во всем — чувствовалось очарование расцвета, женственная прелесть, не сознающая, что к ней влекутся.

Раз случилось, — года два тому, — он приоткрылся.

Он зашел случайно. Антонина была одна, играла на рояле. Было в марте. Солнце лежало на паркете, касалось ее платья. Он остановился за портьерой, слушал. Не смел нарушить. Ему передалось страданье, страстное томленье. Он видел н о в о е лицо, — такого никогда не видел. Она склонила голову на ноты. Он вошел.

— Вы... — сказала она в испуге, еле слышно.

Он смутился.

— Простите... я не посмел мешать!..

Она смотрела утомленной.

— Как вы играли!.. — заговорил он страстно. — Какое счастье... столько я пережил!..

Взгляд его сказал. Ее ресницы вздрогнули и опустились. Она молчала и брала аккорды.

— Это «Смерть Изольды». Вам нравится?..

— О!.. — только и мог сказать Бураев.

— Хотите чаю?

Больше они не говорили.

Это его томило долго. Потом — Люси. Закрылось.

За последний год он не бывал ни разу. И батальонный не приглашал. Понятно: «мальчик с историей», как говорила полковая командирша. Теперь все кончилось. Бураев решил заехать.

VII.

За заставой фонари кончились. Он скакал по грязи, при тусклом свете слободских окошек. Пахло гарью. Зарево тускнело. Старое кладбище тянулось с версту, по буграм и ямам. Белая стена мерцала лентой, местами розовела от пожара. Грачи тревожно гомозились в липах и березах. На зареве чернели гнезда. Бураев вглядывался по дороге, — никого. «Если не дождалась — вернется? Встречу». Он поехал тише. Никого. Дождь прекратился, поднимался ветер, с поля. Пахнуло полевым раздольем, желтыми цветами курослепа, новой травкой. Радостно зафыркал «Рябчик». Пошел большак, в березах. Березы мотали космами, летели брызги. Бураев отпустил, пришпорил. Березы замелькали, захлестали. Вот и поворот на Богослово. Он осмотрелся. Никого. Зарево совсем погасло. На проселке отблескивали в лужах звезды. Он проскакал проселком — никого. Вернулся. Постоял, послушал. Посвистал протяжно. Объехал перекресток — никого. Березы шелестели. Гудели ровно телеграфные столбы. Ветром донесло чугунные удары — девять.

«Так и вышло», — с досадой подумал он. И не спешил. Посмеялся кто-то? «Или — о н а . . . та Лиза Королькова, девочка с косами, которой уже нет на свете? . . Жду мертвую. На распутьи, в ветре, в пустоте? . .» И стало неуютно. «Насмешка, как все у меня в жизни? . .» Вспомнилась Клэ, первая его влюбленность, — вышла замуж. Потом Люси, — обман. Милая девочка с косами — призрак. Ветер, пустота. И темень. Грязная дорога . . . От города загромыхали колокольцы, засту-

чало. Он пригляделся: парой в тарантасе, почта. Проехала.

— Эй! .. — крикнул Бураев в пустоту и темень.

Подождал. Сыпали дождем березы. Что за чорт? .. Насмешка. Потрепал «Рябчика»:

— Верный друг, коняга ... не везет, брат? ..

«Рябчик» застриг ушами, фыркнул.

— Головой трясеш. Да, брат, незадачи. Ну, к подполковнику заедем, увидим светлую Юнону ... каких не будет. Ну, айда! ..

Он пришпорил. Навстречу набегали огоньки, застава.

— Куда вы? .. стойте ... капитан Бураев! .. — крикнул кто-то.

Он столкнулся с кем-то, взвил «Рябчика».

— Чуть не сшибли ... ах вы, Буравок! ..

— Простите, капитан ... так, разогнался ... — признал Бураев ротного 9-й роты, штабс-капитана Артемова. — На усмирение?

Из полевого переулка, слева, выходила рота в полном походном снаряжении, скребя шагами. Вздутые мешки серели сбоку, штыки мерцали ровными рядами.

— Сми-рнааа, р-равнение напра-ва! .. — закричал Артемов. — Шире, шире шаг! Левое плечо вперед ... прямо, ма-арш! .. Подпоручик Константинов, ведите роту ... нагоню! Чаще перебежки ... пользуйтесь ночным маневром! ..

Рота вышла. Ехала лазаретная линейка, кухни.

— Воюем с проле-тарами, голубчик ... — сказал, закуривая, штабс-капитан, рыжебородый, грузный, по-походному, в ремнях, с биноклем и наганом. — Третья неделя забастовка, сегодня вскрылось ... захватили ди-

ректора, грозятся учинить расправу. Говорят, у них там агитаторы укрыты, с бомбами... чорт их побери! Пойдем в атаку на эту сволочь.. — плюнул штабс-капитан. — Там и прокурор, и вице-губернатор, и стражников нагнали... оцепили, а не выдают! Только сошлись дерябнуть к Туркину, в преферансик пошвыряться... бац, к командиру... Ну, уж задам им перцу!..

— Роту без нужды не горячите, — сказал Бураев. — Неважно на солдат влияет. Для сих маневров надо бы особый корпус, внутренней охраны.

— Кой чорт, неважно! Рота у меня — вот! — он сжал кулак. — Так-то распатроним... А эти... уж живыми не уйдут. У ...цев троих из нестроевой под суд, ихние прокламации нашли... ни за что погибнут!

— Не горячите. Тут не революция, а глупость. Сволочь захватите.

— Там разберемся. А солдаты рады... по три гривенника на рыло, да и угостят, понятно. Вот вы говорите... стой, чорт!.. говорите, не надо горячиться. Да чорта мне стрелять в болванов... курицы не могу зарезать. Понятно, долг исполню. Ни в воздух, ни холостыми теперь нельзя, после былого «опыта». Стрелять, коли что, придется. А вы бы полюбовались на моего Константинова-вояку, вот пошел народец ...малиновое! Губы посинели, как утоплый... трясется, хнычет... «как я могу стрелять в народ!» Чуть не истерика, да еще при фельдфебеле, при взводных! Ну, что прикажете мне делать, подать рапорт!..

— Чорт знает! — сказал Бураев возмущенно. — Это сейчас же разнесется солдатней... считайтесь с этим. Придется, хоть и больно. Офицерский суд решит.

Разводить заразу... Ну, прапорщик запаса, особенно эти универсанты, протестанты... не в счет. А то вдруг кадровый!..

— Так бы сейчас дерябнул!.. — крякнул штабс-капитан, вбирая пузо. — Послать бы казачков, живо бы плетями... Не на японцев... нас-то чего тут беспокоить?..

— Бывает, нельзя без боя. 905-й помните? Почему ему не повториться, при таких порядках! — и он подумал, что вытворяют в Петербурге: «Гришка Распутин, разные Иллиодоры, бестолочь и «тайны». В армии —мы, командиры рот, на манер отмычки, «козлища», чорт знает...» Подумал — и смутился. — Для внутренних историй нужны части боевой внутренней охраны, особой дисциплины, а не регулярные войска. Нужна реформа. Стражниками тут не обойдешься...

— Ну, догонять пошел.

Они простились.

«Выбрал командир Артюшу. Ни шагу без фельдфебеля. И трусит», — подумал Бураев раздраженно. — «Пошли надежного. Чекана или Густарева. Бригадный шляпа, за себя дрожит. Как бы Москву не потревожить. Там ведь все с примеркой, за чужой шеей!.. — выругался он. — А случись серьезное? с такими трясопузами да сопляками...»

За разговором они доехали до семинарии. Пришлось вернуться, к Кожину заехать. У семинарского забора, на углу, стояла кучка семинаристов. Донеслось:

— Покажут им олеховцы! Вон тоже, сволочь едет... охранники!..

Бураев вспыхнул. Подумал — мальчишки, не придавать значения? Он уже проехал. Нет, нельзя: взрослые болваны, хулиганье. Он бросил «Рябчика» на кучку и дал нагайкой. Кучка побежала. Он нагнал и вытянул еще. Один споткнулся. Бураев вытянул еще, по заду.

— Будешь помнить «сволочь»! Уважай армию, скотина! .. Встать! — крикнул он семинаристу. — Фамилия? ..

Из-за угла кричали:

— На безоружного попался ... царский плевок, опричник! Бей его, ребята! ..

Бураев погрозил нагайкой. Лежавший плакал.

— Подыму, не притворяйся ... встать, скотина!

Семинарист поднялся. Он был верзила, не ниже капитана.

— Фамилия?! Вы, мерзавцы, не дети, а, великовозрастные болваны, и будете наказаны! .. Подойти ко мне! .. — крикнул он притихшим.

— Мы готовы извиниться ... сказал из кучки кто-то.

— Извиняться перед всяким ... ! — крикнул бас и свистнул.

— Подойди, если ты не трус! — крикнул Бураев кучке. — А ты, не двигаться, — взял он за шиворот семинариста. — К ректору идем! Фамилия?! ..

— Мирославский, — плаксиво заявил семинарист. — Это не я, можете спросить.

— Всех найдем! — сказал Бураев. — Двигайся.

— Найдешь, у своей ... вошь! — крикнул из кучки бас, и побежали с песней:

На дворе у попадьи
Растерялися бадьи...

— Позвольте, господин офицер?.. — услыхал Бураев раздраженный голос. — На каком основании вы издеваетесь над мальчиком?.. Вы его ударили! Он вас ударил плеткой? Не бойтесь, смело говорите... я не допущу... — обратился неизвестный к семинаристу. — Вы его били? На каком основании?..

— Что такое? — сдержанно спросил Бураев господина с остренькой бородкой и в пенснэ. — Кто вы тут такой? вы слышали?.. вы за хулиганов?..

— Я член земской управы... Канунников. Вот, моя карточка. Я не могу позволить, чтобы при мне учиняли гнусное насилие над учеником... публично!..

— А я капитан Бураев. Вас интересует, что произошло? Удовлетворю ваше любопытство. Эти оболтусы, в кучке, посмели оскорбить армию... понимаете, а-рмию! — крикнул Бураев, тряся нагайкой. — Нет, ты постой... — подтянул он за ворот семинариста, который пробовал рвануться, — мы с тобой сейчас к ректору направимся... Вы довольны? — обратился он к господину в белом картузе.

— Но позвольте, нельзя же...

— Нет, уж теперь... вы позвольте! — поднял Бураев голос. — Когда оскорбляют армию Императора и России... и господин член управы вмешивается и берет сторону мерзавцев и хулиганов... что э т о значит?!

— Но я не слыхал, позвольте!..

— А не слыхали — молчите! Сперва узнайте. Когда говорит офицер — говорит офицер! С вас довольно?

Если не довольны и если вы достойны... — к вашим услугам! Капитан Бураев.

— Не испугаете... я завтра же еду к губернатору! — запальчиво заявил член управы. — И не позволю самоуправства...

— Можете успокоиться. Я не скрываюсь, сейчас же заявлю ректору, а завтра подам рапорт обо всем. Вы слышали, что эти хулиганы кричали на всю улицу — «царский плевок» и «охранник»? Вы слыхали, если не глухой. Если видели, как отпорол нагайкой хулиганов, вы слышали! Или вы солидарны, а?.. Я вас знаю: когда оскорбляют армию и Государя, вы не слышите. Когда порят нагайкой дрянь... вы заступаетесь, кричите о насилии и самоуправстве! Меня не тронете вашими истертыми словечками, знаю я вас!.. За себя я сумею всегда ответить... и отвечу! С вами разговор кончен. А тебя, хулиган, я дотащу до ректора.

И не обращая внимания на какие-то путанные слова заступника, Бураев, не выпуская ворота семинариста, спрыгнул с коня и направился к освещенному двумя фонарями подъезду семинарии. Вызвав звонком швейцара, он приказал ему подержать коня и, все еще держа за ворот примолкшего семинариста, сказал попавшемуся навстречу ламповщику, чтобы провел его к господину ректору. Скоро явился, скатившись с лестницы, худой и высокий инспектор семинарии, в виц-мундире, с оловянными пуговицами. Бураев объяснил вкратце и потребовал самого ректора. Инспектор стал уверять, что он имеет достаточно полномочий, что в такой поздний час... приемные часы кончились... господин ректор занят учеными трудами в своей библиотеке...

— Дело настолько серьезно, что я прошу вас побеспокоить господина ректора, иначе я не уйду! — твердо сказал Бураев.

Его попросили к ректору, в кабинет. Он повел за собой семинариста.

Благообразный архимандрит, в темном подряснике, сидел в кресле, в груде бумаг и книг. Он вдумчиво выслушал Бураева, покачал неодобрительно головой, потом покачал уже с одобрением, когда дело дошло до порки, и объявил:

— Не могу во всем усмотреть иного чего, кроме, во-первых, бесстыдного и прискорбного поведения негодных, участь которых будет решена завтра же ... и, во-вторых, справедливого и государственного внушения негодным. И ото всего сердца благодарю вас, капитан ... ибо во всем этом бесчинстве больше значимости, чем кажется. Наша семинария борется с этим смердящим духом разложения нравов и попирания законов. Эти гады завтра же будут извержены. Только прошу вас ... не доводите до оффициального пути, во избежание пересудов в обществе нашем, между нами, скудоумном и пустоумном ... дабы не вышло соблазна горшего и ...

— Простите, господин ректор, но я обязан подать командиру рапорт ... — сказал Бураев.

— Лишняя суета ... зачем?

— Таков закон, господин ректор.

— Ну, в таком случае, творите по закону.

Качая в возбуждении нагайкой, Бураев вышел. Швейцар, передавая «Рябчика», сказал почтительно:

— Прямо, ваше благородие, никакого сладу с ими, и начальство наше ... — он понизил голос, — ни-куда,

никакой дисциплины... воспитатели водку с ими хлещут, а то чего и хуже. Ну, какие же из них попы-то выйдут!.. Тридцать два года здесь служу... год от году хуже. — Он получил пятиалтынный и поклонился. — Одна, можно сказать, похабщина... только и слышишь, что мать да мать!..

— Верно, старик! — сказал Бураев. — Солдат?

— Так точно, ваше благородие... Иван Баранов, старший унтер-офицер, 72 пехотного Тульского полка, в чистой с 89 году! Наш полк с самим Суворовым в Итальянском походе был... барабан у нас пробило ядром... потому у нас теперь особый барабанный бой при марше, и турецкий барабан числится по штату военного времени, ваше благородие!.. — радостно и гордо сообщил Бураеву старик-швейцар.

— Вот ты какой... молодчик! — весело сказал Бураев, только сейчас заметив у солдата Георгия. — Был в боях?

— Так точно, в осьмнадцати боях, ваше благородие! Первое...

— Заходи, брат, как-нибудь... с лагерей вернемся, ко мне чайку попить, к капитану Бураеву, в полку узнаешь. Вот тогда расскажешь, буду ждать.

— Покорнейше благодарю, ваше благородие. Упомню, обязательно зайду.

Он подал стремя и еще молодецки топнул.

— Ну, прощай, Баранов.

— Счастливо ехать, ваше благородие!

Бураев был растроган этой неожиданной встречей. Не мог он равнодушно проходить мимо героев, особенно мимо солдат-героев. «Как знаменательно-то вы-

шло», — думал он, — только что были хулиганы, молодежь... ни чести, ни отваги, и тут же рядом, старый человек, прямой и верный! И сколько их таких, невидных. Ими и жива Россия, на всех путях... Суворов в сердце, не забыл и тут... «барабан у нас пробило»! Когда же было, в битве при Требии... солдат, а знает. А спроси этих... «мать да мать!» Все еще связан с «нашим»: «у нас особый барабанный бой», «наш полк с самим Суворовым!» Почему прежние — такие, а теперь?.. И во многом так. Родиной гордились, своим. Откуда этот халуек общественный, протестант — спортсмэн? Не разобравшись, вопиет: «насилие, публично издеваетесь над мальчиком!» — хотя прекрасно знает, что хулиган. Губернатором грозится, а тот же губернатор у него — «бурбон», «нагайщик», «столыпинец»? Потому что офицер вмешался! Знать не знает, что тот же «офицер» всегда обязан!.. Присягой, честью. Старая повадка, рабья. И всегда тычут — привиллегии! Сколько исписали... Чуть что, ведь на коленках будет ерзать, чтобы не дали в морду. В 905 было, попритихли. Этот старик не раб. Крест на шее, и крестом отмечен, верный русский человек. Общество дает опору негодяям, не чтит закона, не понимает власти и не умеет властвовать. Гордый студень! А тоже — «не позволю». И еще лезут государством управлять. С огнем играют, пораженцы!»

VIII.

«К батальонному заехать обещал», — вспомнил Бураев встречу и повернул к заставе. Кожинский забор тянулся по концу Московской, ворота выходили к полю. Бураев свернул направо, полевым простором. Старые тополя шуршали в ветре, пахли горьковато-клейко. У каменных ворот, под плесень, с отбитыми шарами, он позвонился. Знакомо раздалось по саду, в глубине, — бом . . . бом . . . Залаяли овчарки. Было видно в щели, как из людской выходит кто-то с фонарем и светит к лужам. Кричит овчаркам — цыц, лихие! Как в деревне. Это денщик Василий, садовод, как и у отца, Василий тоже. Бураев вспомнил про отца, и стало грустно. Надо написать. «Сейчас увижу Антонину, милую Юнону . . . интересно, какая она стала. Больше году не был, и не встречались».

Подумал: «так бы и не собрался, если бы не «свидание». И еще подумал: «вот женщина . . . скоро таких не будет». И увидал — «виденье». Да, Юнона.

— Кто там? . . — сторожко опросил Василий.

Бураев въехал в открытые ворота, в тихий, широкий двор, напомнивший ему родное — «Яблонево» отца, где вырос. Так же выходили с фонарем к воротам, те же тополя, светящиеся окна дома, в высоких елях. Повеяло уютом, родным, исконным, теплым. А в доме, в белом платье — мама . . . милая Юнона, напоминающая чем-то маму. Он позвонился на парадном и подумал, как хорошо, что он заехал, привела случайность, что-то, тот «компас», который как-то направляет.

Вот, надломилось в жизни, не к кому пойти, и вот — направил. Милая Юнона, как-то встретит?..

В нем заиграла радость и поднялось смущенье, когда послышались шаги за дверью. Отворил сам Кожин, в гимнастерке, костлявый, длинный, с тонкими усами в стрелку, в эспаньолке, как Дон-Кихот. В зале играли на рояле, как т о г д а. Сердце его забилось радостно-тревожно. Его встречают?..

Он вошел, смущенный. Особенно смутил полковник, крикнул:

— Вот он, блудный сын! вернулся!.. Антонина, встречай заблудшего!.. Силой притащили, а?.. Под дождем прогулки совершает... все освежается. А старые друзья забыты!

— Нет, полковник, не забыты, — в смущении сказал Бураев, — а как-то все не выходило...

Музыка замолкла. Бураев узнал знакомые шаги по залу: шла Юнона.

— Нако-нец-то... — появилась Антонина Александровна в дверях. — Что с вами было, милый капитан... почему так пропадали? И так внезапно... Кажется, больше года?..

Бураев поцеловал смущенно руку. Подумал: что это, насмешка?

— Как-то, Антонина Александровна, жизнь захлеснула... — сказал он искренно. — Страшно жалею... Так все как-то...

— Бывает, — пошутил полковник. — Нечего жалеть о прошлом. Так-то, братец.

Антонина была все та же, молода, свежа, светла, спокойна, как будто пополнела, стала еще прелестней.

«Новое в ней», — следил за нею с восхищением Бураев, — «нежная усталость, томность», — и сладко, и тревожно билось сердце. Полковник скрылся: что-то с инкубатором неладно.

Выйдя в залу, Антонина вдруг остановилась.

— Почему забыли? — спросила она прямо. — Много пережили? . .

Этого он не ждал и растерялся. Вспомнил почему-то, как она — давно! — склонилась к нотам, как он слушал. «Совсем другая», — пробежало в мысли. Она смотрела на него с улыбкой, как — всегда? Он ответил:

— Много, вы знаете. Я ценю ваше доброе ко мне . . .

— Правда? — она как-будто, удивилась. — Вы не изменились. Ну, что-нибудь скажите . . .

«Нет, она другая . . . свободней стала», — решил Бураев, любуясь, как она села на качалку. — «Как прелестна! . .»

— Что же говорить, вы знаете. Конечно, я не мог себе позволить у вас бывать . . .

— Вот как! Почему?

«Нет, она совсем другая».

— Вы курите?! — не удержался он воскликнуть.

— Что вас удивило? — спросила она спокойно. — Так, привыкла . . . Ну, говорите. Не могли бывать . . . Ну, что еще?

— Вам все понятно.

— Почему мне . . . все понятно? — сказала она вверх, следя за дымом.

— Потому что вы . . . другая! — сказал он смело.

— Я не понимаю, что это значит... другая? Какой вы странный...

— Перед вами я не могу таиться, как перед... святой! — сказал он неожиданно и тут же и подумал — «зачем я это?»

— Вот как! — она чуть усмехнулась и качнулась. Светло-сиреневое ее платье помело паркет. — О, какой вы льстец... кто вас учил?

— Я не льстец, — сказал Бураев, — вы это знаете.

— Комплиментщик, знаю! — звучно засмеялась Антонина, новым смехом. — Помните, в саду?..

Бураев грустно усмехнулся.

— Помню. Что же... вы все такая, как тогда! — сказал он прямо, в очаровании «виденья». — Видите... потому-то я не мог бывать у вас, тогда. И сегодня я не посмел бы, если бы не... полковник.

— Знаю, знаю... Ну, говорите.

— Я был обязан перестать бывать... может быть еще раньше, до «истории».

— Почему — раньше?

Бураев не ответил.

— А теперь... нисколько не обязаны... перестать бывать?

Он любовался, как она качалась, откинувшись на спинку кресла. Это оживленье, смех, играющие руки, каштановые косы, завернутые пышно, — все было новым, таинственно-прелестным новым. Он, в очаровании, ответил:

— Боюсь, что да... обязан.

Она взглянула на него издалека. Взгляд этот что-то и сказал, и нет.

— Снимите «обязательство» с себя, не стоит... — сказала она шуткой. — Впрочем, после завтра уйдете в лагери. Но... я вам разрешаю изредка бывать и летом. Андрей Максимович приезжает каждую субботу, для садов и для хозяйства. Значит, — сказала она обычным тоном, — с вашей «историей» покончено? Вы не обижайтесь. Все знают...

— Обижаться, на вас! — восторженно сказал Бураев. — Теперь, — он усмехнулся, я уже «мальчик без истории». Как я счастлив, что могу бывать... вы для меня, как... милосердие! Уверяю вас. Если бы вы знали, как я одинок. И... всегда был одинок, — прибавил он с тоскою.

— Очень рада. Что же вы не спросите про Нету? Она теперь бо-льшая.

— Я не забыл. Не встречал давно. Большая, да...

— Ушла на панихиду по Лизе Корольковой. Вы знаете? Самоубийство...

— Знаю. Ужасно. Я ее помню... фарфоровое личико, мимо проходил в казармы, часто видал в окошке. Обыски идут у нас...

— Кажется, что-то грязное. Начальница гимназии хотела запретить, чтобы устраивали панихиду, но все восстали. Вот, Неточка пошла. Кстати, который час? Без четверти десять... Надо послать пролетку. Вы с этой Корольковой не были знакомы?..

— Никогда... Почему вы меня спросили?

— Просто так. А вы... почему так спрашиваете?

Бураев не успел ответить: вернулся батальонный, нес цыплят в лукошке.

— Надо Семена послать за Нетой, к Лисанским. Там она будет ждать.

— Куда послать? — не понял Кожин. — То есть, как за Нетой?..

— Как за Нетой! — сказала Антонина раздраженно, чему Бураев удивился. — Нета же ушла на панихиду и будет ждать! Надо послать к Лисанским...

— Вот тебе раз! — сказал полковник, потирая темя. — Давно пое-хал! Как же это ты так... волнуешься. Поужинал и поехал. Вот, полубуйся, капитан, какие у меня штуки... вот эти пли-муты! Знаешь, милая... не попробовать ли, под музыку? Эффектно будет, чорт возми!..

— Как, что... под музыку? — спросила, в испуге, Антонина.

— Что-что... Выпущу, а ты сыграешь. Посмотреть влияние... слышат или нет? Где-то я читал, что рыб на музыку манят... все и выплывают! Вот, приучить-то!.. Капитан, не смейтесь: знаете мою слабость. Скоро тридцать пять лет, все с солдатиками играл, а вот пора и отдохнуть, с цы-плят-ками-с...

Антонина вышла. Кожин любовно вынимал цыплят, пускал на коврик.

— Вот, батальон-то настоящий! Смейтесь, а — жизнь. Лучше, братец, чем все трофеи мира. Что ж, я и не скрываюсь. Скоро выхожу в отставку. Богат, а скоро буду и миллионером, да-с. Эта усадьба только между прочим. Куплю, так... десятин тысченки три, ну, понятно, пенсия. Конец войне! Скоро все армии насмарку. Тюк-тюк-тюк... — тыкал он в пол перед цыплят-

ками. — Армии разоряют государства! да-с! .. Но ... служишь — и не философствуй.

Бураев, из такта, промолчал: часто чудил полковник! Кожин унес цыпляток. Вернулась Антонина.

— Да, — это самоубийство очень взволновало город, — сказал Бураев.

— А вас?

— Но это так естественно. И меня, конечно.

— Нета говорила, — скользнула взглядом Антонина, — что в дневнике несчастной что-то есть о вас? .. Вы ничего не слышали? ..

— Странно. Я ее совсем не знал ...

Он вспомнил о письмеце, о «К.».

— И не знали, — спросила Антонина медленно, — что вы ей очень нравились? ..

— Первый раз слышу! — искренно сказал Бураев. — Теперь я стал какой-то притчей ...

— Ну, простите ... — взяв его руку, сказала Антонина, — я вас встревожила? ..

Это ее движение и мягкость, как она сказала, его растрогали. Он не посмел сказать ей, как он счастлив, что снова ее видит. Но его взгляд сказал ей это.

— Встревожили? .. чем?! .. — удивился он. — День у меня сегодня беспокойный был ... а так, какие у меня тревоги!

— Да, вид у вас усталый.

Антонина отошла к окну, открыла. В окно смотрела белая сирень, в дожде.

— Хотите? .. — сломила она веточку. — У нас тут солнце ... уже распустилась.

Он поблагодарил и нежно поцеловал, — приник к сирени.

— Помните, — сказал он нежно, — когда-то вы меня гадать учили?

— На сирени? — бросила она небрежно.

— Нет. Это было давно, но я все помню ... фуксии! — сказал Бураев, стараясь уловить ее глаза.

— Фу-ксии? .. когда? .. Не помню. Разве на фуксиях гадают? В первый раз слышу. Почему у вас сегодня тревожный день? ..

Она пошла к роялю, но играть не села. Открыла, задумалась ... закрыла.

— Я теперь даю уроки, уже больше года.

— Да, я слышал, что вы довольны. Полковник говорил ... нашли цель жизни.

— Цель? — усмехнулась Антонина. — Вот как, смеяться научились! .. Я шучу, конечно. Теперь уж не такая домоседка стала ... Бегаю с утра до вечера.

— Странно, ни разу вас не встретил! — сказал Бураев. — Впрочем, у меня одна дорожка — дом, казармы ...

— Да? А я вас иногда встречала ... Вы, кажется, в каком-то тупичке живете ... неподалеку Антоньев монастырь?

— Да! — радостно сказал Бураев. — Вы знаете? .. Но почему же я никогда ...

— Случайно вышло ... как-то я ехала и видела, вышли из тупичка, пошли в казармы. Какой же у нас с вами скучный разговор!

— Что-то ты, капитан, начал мне говорить, что-то у тебя произошло сейчас... про какой-то рапорт?.. — сказал вошедший батальонный.

Бураев рассказал, что вышло.

— И превосходно, что отпорол. Вот кого бы отодрать-то... подлеца Скворца да мецената нашего Катылку! В Сибирь!.. — закричал полковник, словно на плацу. — Эти тебя продерут в «Голосе», в отделе «подтирушки», или у них «Постирушки»? Ну, да ты им головы отвертишь, я тебя, капиташа, зна-ю!..

Антонина передернула плечами и ушла. Бураев с удивлением подумал — «что такое с полковником сегодня? и Антонина как-то странно?..»

— Надо Антонину благодарить. Заметили, нарочно вышла. Что говорить, святая женщина, молюсь на нее, как на икону. Стала она давать уроки музыки... вы уж, понятно, ходить к нам перестали... стали «мальчиком с историей», как мать-командирша пропечатала. «Один Бог без греха, а мы лю-ди гре-ешные!» — неожиданно запел подполковник. А А нтонина как раз тут и решила давать уроки музыки. Так сказать, наполнить зияющую пустоту. Однако, три четвертных выигрывает! — подмигнул Кожин, — скоро выкупим у банка лятифундию, с ее подмогой. Урок был у подлеца Катылина, собственника поганца «Голоса»... И приехал этот адвокатишка Скворец, редактор. Ну, за чаем кру-пный разговор... как раз у тебя, капиташа, «вынос» твой случился...

— Какой вынос? — спросил Бураев, которому стало неприятно слушать.

— Не вынос, а «вылет» правителя Краколя. Вышиб ты его? Это уж факт исторический. Вот они тут и закипели, общественники наши, ангелы-то хранители! Вот когда распотрошим-то... и губернию, и армию! Понимаешь, что говорили?.. Падение нравов!.. А у этого Катылина в Москве содержанка, в монастыре послушница, и уважаемая супруга, кровь с молоком!.. Вот и прикуем к позорному столбу, на радость общественности и либералов-кадюков. Антонина, понятно, от чистоты души, им и говорит: неудобно в частную жизнь мешаться... публичного преступления нет! здесь дело вза-имное... ушла жена от мужа — и, между нами, известного прохвоста! — и муж мог требовать удовлетворения, и вообще!.. Зачем будить нездоровое любопытство, надо подымать читателей... Они ей — «мы на страже общества, и пригвоздим!» А она... Вы ее всю не знаете... ох, с темпераментом!.. — разошелся Кожин, — а перед офице-ром... — ткнул себя в грудь Кожин, — благоговеет, казачка чистокровная, атаманова дочка... на пистолетах может! а, бывало, джигитовала... засу-шит!.. Вы не глядите, что — «тихий глаз»... и консерваторию кончила на виртуозку!..

— Господа, пить чай! — позвала Антонина Александровна устало.

— Сейчас, анекдот Буравку доскажу... Она им, братец, ультиматум: ни слова в ваших «подтиронах»! Завтра намараете, — смысл-то! — а к вечеру Бураев вас обоих прро-бу-рравит!.. — сделал полковник пистолет из пальца и присел, прищурясь. — Как воробьев! — «Я — какова полковница? — этот характер

о-чень знаю!» Ну, те и... дай бумажки! Она-то, правда, тут же, как говорится, «спокойно удалилась» — она уме-ет! — и урок к чертям, а «подтирон»-то порции не получил. Этого, заметьте, ни-кто не знает. Аминь! — полковник погрозил к столовой. — Слово взяла с меня — ни-ни! Но тебе-то... не могу же не сказать! Я тебя, чорт те знает, «люблю любовью странно-иностранной». Глядишь — ну, прямо, офицер-девица, из монастыря вот только... А можешь и в ад сейчас же. Мо-жешь! Хмуришься? На батальонного не полагается сердиться! — погрозился Кожин. — Идем к хозяйке и виду... ни-ни-ни!

«Сегодня он какой-то чумовой», — подумал опять Бураев. Но это было мимолетно. Антонина, милая Юнона, сияла в мыслях. Новая, — такой он никогда ее не видел. «Тихий глаз», — верно сказал полковник. «Вы ее всю не знаете! ох, с темпераментом... казацкой крови...» «Но как же это объяснить?» — спрашивал себя Бураев. — «Возмутилась, бросила урок, когда узнала, что я?..» Было непонятно, даже неприятно почему-то.

Вошли в столовую. Она стояла у буфета и смотрела к двери. Он встретил ее взгляд и прочитал: да, я такая! Конечно, она слышала.

— Вам, как всегда, покрепче?

— Пожалуйста. Особенно сегодня.

— Почему «особенно сегодня»?

— Очень, Антонина Александровна, устал. И еще необходимо в одно место. Уже одиннадцатый... а очень нужно.

— Очень? Деловой вы стали.

Она взглянула из-за самовара. Так она раньше не смотрела. Решительно, она другая. Тревожней стала? Он не мог решить. Свободней? . .

— Не деловой, а . . . очень нужно! — повторил Бураев, а сам подумал: «вот заладил!»

Антонина задумчиво мешала в чашке. Полковник шумно дул на блюдце. Разговор пресекся.

— Выкупим у банка, решено! — сказал полковник. — Займусь червями, по системе . . . этого . . . ну, как его . . . такая звучная фамилия . . . — крутил он в пальцах, — ну, еще корпусной-то был? . . . Антониночка, не помнишь? . .

— Не помню, — сказала Антонина в чашку.

— Ну, чорт с ним. Буду воспитывать на скорцонере, коконы получаются тончайшей консистенции и . . .

Антонина опять взглянула, и снова их взгляды встретились. Сердце Бураева остановилось. Взгляд был мгновенный, — и тоска, и радость.

— Партийку сыграем? — нежданно предложил полковник, обрывая хозяйственные планы.

Бураев колебался. Остаться? Антонина, склонившись, медленно переливала с ложечки. О, милая! — сказал он взглядом. Сердце было полно таким безмерным, что он не мог остаться. Скорей на воздух, скакать, все вспомнить, привести в порядок. Он задыхался от волненья, з н а я, что сейчас случится, должно случиться. Он взглянул опять. Она переливала с ложечки. Он видел милую ее головку, завернутые косы.

— Сегодня не могу, полковник. Если разрешите, завтра? . . Дал слово быть. Приехал из Москвы профессор, надо быть, неловко . . . — путался в словах Бураев.

— Доклад какой-то . . . важный . . . об «основах жизни».

— Ну, Бог с вами, до-кладчики. Ну, завтра. Перед лагерями отпразднуем. Покажу, какие я реформы провожу . . .

— Уходите . . . — сказала Антонина утомленно, бросая ложечку. — Что так скоро?

Как всегда, она была спокойна, замкнута. Глаза сияли ровным светом. Провожая, она сказала:

— Яблони зацветают . . .

Бураев вспомнил «перламутр» и «маму» — первое знакомство.

— Да, я помню ваш перламутр . . .

— Что за перламутр? — спросил полковник.

— Яблони когда у вас цветут . . . все, как перламутр! — восторженно сказал Бураев. — Помню, когда я в первый раз увидел . . . — он остановился, — как перламутр, так я живо помню . . .

— И «маму»? — усмехнулась Антонина.

Засмеялись все. Громче всех полковник.

— Конечно! . . — сказал Бураев, — сколько мне за «маму» попадало, как не помнить! Да, чудесно теперь будет. А в лагерях одни березки да осинки. У вас укрытей. А в нашем тупичке открыто к пойме . . . чуть только начинает розоветь.

— Ну, значит, завтра . . . кстати сады посмотрим, — напомнил Кожин.

«Машенька приедет завтра», — вспомнил досадливо Бураев.

— Завтра . . . постараюсь, господин полковник.

— Визи-тер! Сидит, как на иголках, на часы все . . . Уж по правде, свиданье, что ли? . .

— Никак нет. Полное одиночество. Как на походе, можете взглянуть. А сплю, как полагается, на гитаре... — он вспомнил, что приказал Валясику. — Голо, как в келье. Портрет, в веночке, да иконка.

— А чей портрет-то? — подмигнул полковник.

— Мамин, господин полковник.

— Отцы пустынники... и жены непорочны! — вздохнул полковник. — Так вот поглядишь... изящный капитан, пачками влюбляются.. ну-ну! Ну, а когда порол нагайкой, а... зверем? Знаю твой слабый темперамент, слыхали, как на войне-то! Кажется, тоже, казацкой крови... что-то ты говорил?

— Есть немножко. По маме, запорожской. Только мама кроткая была. Да и я, господин полковник, не из зверей, — не уходил Бураев, мялся. — Горяч я, правда. А солдата ни разу не коснулся, в этом чист.

— Этим не гордись. Бывает — стоит. Да уж либералы, что говорить!

Стояли под лестницей, в большой передней, слабо освещенной. Антонина — у косяка, задумалась о чем-то.

— Где же Нета? — вскрикнул неожиданно полковник. — Нельзя так поздно!

— Как ты испугал... Сам же сказал — Семен поехал.

— Верно, Семен поехал.

Прощаясь, Антонина задержала руку. Бураев уловил в глазах и боль, и радость.

IX.

— Любит? . . — спросил он небо.

Крапал дождик, фонари мигали в ветре. Сердце горело болью и восторгом. Как же могло случиться?! «Или это страсть, привычка к женщине? . . Или это счастье, и я — люблю? . .» — спрашивал себя Бураев. — «То, главное . . . пришло? . . Так, внезапно? Нет, было, с первого же дня, тогда . . .»

Он оглянулся на усадьбу. Те же тополя шумели в ветре — и не те же. О, чудесный дождь! Как пахнет тополями и сиренью, белой, т о й сиренью!

«Нежная моя! . .» — сказал он страстно тополям и ночи.

«Рябчик» шел в тугих поводьях, гарцовал. Бураев охватил его за шею.

— Ми-лый! . .

«Рябчик» закинулся, понесся. Еле сдержал его Бураев, дал шпоры и пустил в галоп. Город уже спал. Летели фонари на встречу, тумбы, ветер, темные дома, в лампадках, пустые перекрестки, трактир с машиной, с окнами в огнях, гармонья, церковь с фонарем над входом, гауптвахта, площадь, черный сад, удар с собора, городовой на тумбе, лай собак, раздолье . . . «Рябчик» застриг ушами, отфыркался и перешел на шаг. Пахло тополями, майской ночью. От бешеного гона стало жарко. Бураев снял фуражку и дышал всей грудью. Как чудесно жить! И все чудесно: и дождь, и старые заборы, и тихие лампадки в окнах, и сторож с колотушкой где-то. Все пело, открывало тайну — любит! Во всем, в молчаньи самой ночи, было — любит! Он

припоминал слова, молчанье, взгляды... — любит! Замкнутость и ровность, холодность даже, которые он знал давно-давно, — все стало ясно. Любила, любит! Покорность, сила воли, — так все ясно.

Он переживал, старался вспомнить. Ну, конечно, ясно. Мучается, любит, втайне. То же и в нем хранилось, теперь он понял. Зрело столько лет — пробилось. Да, любит, и всегда любил. Боялся себе сознаться — всегда любил. Этот взгляд прощальный, слабое пожатье пальцев... Любит! Теперь-то что же?

Бураев отмахнулся: не стоит думать.

Отыскивал в забытом. Было, много было. Мартовское солнце на полу, когда она играла, склонилась к нотам. Взгляд испуга... А фуксии! З а б ы л а.

Тому три года. Только-что пришли из лагерей. Весь сад был в яблоках. Полковник ходил с покупщиком и торговался.

— Хотите, — сказала Антонина, — покажу оранжерею? Лагери вам на пользу, вы стали бронзовый.

Он хотел сказать: «а вы, Юнона, стали еще прелестней!» Не посмел. Они прошли в оранжерею. Было зеленовато-светло, как в воде. Прямо, светило через стекла солнце, зеленовато. На Антонине было — о, как помнил! — светло-голубое, тонкое, совсем сквозное. На солнце были видны все линии ее фигуры, — как в воде. Она шла томно, отводила ветки олеандров, чуть, через плечо, смотрела. Он любовался изумительною шеей, с таким изгибом, — какие видел на портретах, в Эрмитаже. Каштановые косы, замотанные на ее головке, золотились, в озареньи.

Она остановилась, в блеске:

— Посмотрите, вот фуксии.

Фуксии в тот год цвели роскошно. Деревца стояли сплошь в розово-фиолетовых, с серебряными нитями, сережках. Он любовался ею.

— Вы молчите . . . не нравятся?

Она смотрела плутовато. Он сказал:

— С детства, я люблю белые цветы. И голубые . . . как ваше платье.

Она сказала, окидывая взглядом платье:

— Колокольчики? Нет, они темнее. Незабудки . . .

— Да, и незабудки . . . как у вас бывают иногда глаза.

— У меня темней. Это от освещения. Фуксии вам не нравятся . . . А так? . .

Она сняла двояшки, приложила и чуть встряхнула.

— А так? Правда, чудесные сережки? Ко мне идет?. .

Он молча любовался ею.

— Молчите . . . Опять не нравится?

Чуть отступил, смотрел. Она держала.

— Чудесно! К вам все идет . . . вы порозовели, а всегда бледны. Это от «сережек».

— Какой вы . . . наблюдательный!

Она задумалась. Вдруг ее глаза раскрылись, усмехнулись.

— А знаете, на них гадают.

— Погадайте мне . . . или себе?

— Мне не о чем гадать, — сказала она нервно, что его очень удивило. — Прошли гаданья, ожиданья . . .

— Смотря о чем . . .

— О чем гадают... о любви, конечно! — небрежно повела она головкой и пропела: — Утихла страсть... прошла лю-бо-овь!.. И ра-дость сладкого свида-нья...

И вдруг оборвала, закрылась. Он сказал:

— Бывает — не проходит.

Она насмешливо взглянула.

— Вы знаете?

И затрясла «сережки». Он сказал:

— Пока... не знаю. Предполагаю...

— Узнаете — скажите. Сколько вам лет?

— Тридцать второй. А вам?..

— Это прилично? Ну, хорошо... мне скоро тридцать. Опыт, пожалуй, одинаков? Или вы... опытней? Навряд... — сказала она мягче. — Хотите, научу гадать? Может, вдруг, случится...

— Очень может... — согласился он, любуясь.

— Если захотите... приворожить любимого... что я говорю!.. лю-би-му-ю... найдите парочку-двояшку, вот как эта, — сняла она «сережки», — и...

Она умолкла и начала болтать «сережки».

— И что?..

— Что же надо?.. — задумалась она, — ах, да. Надо взять... Забыла, что-то надо сделать с «сережками». Что же надо?.. Нет, не помню. Очень давно гадала.

— Ну, как жаль... — сказал он, любуясь откровенней.

Она сняла двояшку и разняла. Шла — думала о чем-то, грустно.

— Пойдемте, здесь очень душно.

— Так и не вспомните?

— Что? — спросила она рассеяно.

— Хотели научить гадать . . .

— Но если я забыла! . . Какой вы странный . . . забыла. Вот, я и музыку почти забыла. Как я игарла раньше! . .

И пошла скорее. Его смутило. Он подумал: разве он что-нибудь позволил? Шел за ней, смущенный.

— Ах, погодите, — сказала она быстро и обернулась, — я вспомнила! Надо разнять цветочки, вот так . . . — и она разняла двояшку, — и один цветочек положить себе на грудь, вот так . . . — опустила она за платье, скромно, — а дружку надо . . . Что же с дружкой? . . — Она задумалась. — Не помню. Что-то надо с дружкой . . . Нет, забыла.

Вернувшись, он нашел цветочек-дружку у себя в пальто, увядший. «Вот что надо сделать!» — вскрикнул он, не веря. Боялся верить. Может быть, случайность? В пальто . . . в оранжерее в кителе . . . случайность? Не случайность. И верил, и не верил. Долго не приходил, смущался. Наконец, пришел — и не посмел. Ни взгляда, ни намека. Все та же: замкнута, спокойна, как всегда. Он сохранил цветочек — дружку.

Вот — приворожила, крепко.

«Что же теперь?» — спросил себя Бураев. — «На муку? так это — «главное?»

Право женщины — дарить любовью, которое он признавал за ней, здесь отступало перед ч е с т ь ю. Это он видел ясно. Обмана быть не может. Любовь — на муку? . .

«Да как же это . . . как могло так, сразу?» — спросил себя Бураев. — «Только вчера я мучился, чуть ли

не... А теперь люблю?! Новая любовь... а то, что было? Где же верно?..»

Он посмотрел на небо. Сеял дождик. Мокрые деревья никли. В пустых еще садах ходило ветром. Вот и тупичек, привез сам «Рябчик».

«А она как смотрит? И она не сможет.»

Он вызвал в памяти ее лицо — ее закрытость, сдержанность, холодность, нежность, грусть... Вспомнил тайну, которую хранили ее глаза, вдруг прорывавшуюся блеском.

«Не сможет».

Все путалось. Не стоит думать.

В дом не хотелось. Он разбудил Валясика и приказал взять лошадь.

— Сильно разогрелся, поводи. К двенадцати вернусь. Да... все, что я приказал, ты сделал... там, в квартире?

— Так точно, ваше высокоблагородие, теперь все чисто.

Дождь превратился в ливень. Несмотря на сильную усталость, Бураев пошел к Глаголеву: тянуло на люди.

X.

Нижне-Садовая, или, по-старому, Глухая, в редких фонарях, спала. У старой церкви Спаса-на-Канавке, под горой, стучала сонно колотушка. Дом учителя был двух-этажный, за гвоздяным забором. Пришлось звониться. Выбежал хозяин с папиросой, забормотал несвязно, зажигая спички в ветре:

— Вы? Как я рад, глазам не верю... А у нас скандал такой!..

— Скандал?.. — оторопел Бураев.

— Да не беспокойтесь... в переносном смысле, скандал-то... а так-то тихо. Что и делать не знаю, все народ солидный... Проходите вот по дощечкам, я посвечу... чортовы спички делают!.. С горки натекает, знаете... Как я рад... главное, народ-то ранний все, укладливый, а тут скандал...

— В чем дело, какой же, собственно, скандал? — спрашивал Бураев, в луже. — Да у вас озера!..

— Глина... натекает. И батюшка покойный все мучился... Сюда, посуше... — торопил Глаголев. — Крушение произошло, как, знаете, нарочно. Ездил встречать на станцию... Выбрались? вот, свечу... Тьфу, вот они розовые-то спички!.. Милый капитан, сю-да! — кричал Глаголев, шлепая по луже. — Крушение! В Томках вагоны оторвались, поезд задержан на полтора часа! Неизвестно только, не оторвался ли Гулдобин? Если в передних, так... Если не оторвался, непременно будет... завтра ему рано надо в Нижний, сколько пересадок...

«Очумел он, что ли?» — раздумывал Бураев, — «уж идти ли?..»

— Ради Бога, уж не уходите!.. — молил Глаголев, словно угадавши мысли. — Все-таки гостей хоть несколько подбодрит. Собственно, не гостей, а... почтеннейшие люди раскачались, сдвинулись во-имя, так сказать, национального... и Кущерин, библиофил наш, по старинным книгам, у него завод крахмальный, и староста соборный Буторов, лесопромышленник... кряжи

все, сколько усилий стоило да еще под воскресенье! .. — сообщал Глаголев, ведя Бураева по переходцам.

— Вот и попал к вам, за «приятным» . . . угощайте! — шутил Бураев, возбужденный.

— Сюда, на галерейку. Вы только у меня в низке были, в книгохранилище . . . прошу. Нашего мудреца увидите, Илью Акинфыча. Огородник . . .

— Огородников? Не слыхал такого.

— Оогородник, Балунов. Во все Заречье огороды. С Ключевским переписывался! Помните — «Мрежи рыбак растилал по брегу студенного моря»? Вот такого сорта.

— Да у вас чудесно! Как вышивки . . . Воображаю, днем! . .

На тусклом свете уличного фонаря вся галерея мерцала переливами мельчайших разноцветных стекол.

— Это мой батюшка покойный, по образцам-с. Это вот «новгородское шитье», а там Поморье, и дальше все. Днем залюбуешься, что там европейские розетки! Только начинаем приступать к раскопкам. Сейчас его увидите . . . Адриан Васильич Кискин, мещанский староста, основатель нашего музея . . . чего набрал! Это уж наша, коренная интеллигенция, не петербургская. Мало о ней известно-с. Таких-то нам и надо. А это все гравюры, портреты славных. Батюшка так и называл: сыны России. Из лаптя вышел, а вот . . .

В ворота застучали, донесся оклик:

— Эй, доложи там . . . лошадь за Адриян Василичем! . .

— За Кискиным, — сказал Глаголев, — такая незадача.

Бураев вошел в прихожую. Против двери висела старая гравюра — «Москва XVI века». По стене стояли кованые сундуки. Висели деревянные резные блюда. На полках красовались солоницы, бураки, ковши. По карнизам тянулись вышивки-подзоры.

— А эти ... — увидал Бураев лапти, — тоже редкость?

— Память это. Батюшка берег. Так, кажется, у Пяста было. Вот и он, берег. Отсюда вышел. Плотогоном был. А через полвека стал почетным человеком, в городских головах сидел ... Прошу покорно. Вот, позвольте познакомить, Степан Александрович Бураев, капитан! — крикнул Глаголев в залу.

— А как же-с, имели удовольствие ... — отозвался кто-то.

Бураев узнал колониальщика Рубкова, в золотых очках, с лицом профессора: покупал, бывало, с Люси конфеты. Народу было много. Опять звонили: прислали за Кущериным.

— Дольше не могу, уж извините ... поднялся важный, в сюртуке, старик Кущерин, — в пять встаем. Другой раз уж лошадь присылают. Надо бы как пораньше, что ли-с ...

— Крушение! Не смею уж задерживать ... — повторял растерянно Глаголев.

Стали подниматься и другие: козлобородый Кискин, Рубков, седой, румяный, староста соборный Буторов. Буторов сказал:

— И рады умных людей послушать, да, видно, горе уж такое наше ... всегда с припозданьицем. Скоро и петушкам кричать. Да и к ранней завтра.

А Бураев слышал: «эх, вы . . . господа интеллигенты, не сваришь с вами каши! такого пустяка не можете!»

Проводив гостей, Глаголев уныло сообщил собранию:

— Мальчишка с вокзала прибежал. Говорит, Гулдобин остался в Томках, по телефону дано знать на станцию. Теперь он прямо проедет в Нижний, завтра у него там собрание, а когда условимся, я предуведомлю. А пока ознакомьтесь, господа, с его брошюрой — «Истинный путь России». Ну, чайку попьем . . . Наденька, что же ты гостей-то оставляешь? — крикнул Глаголев в комнаты.

Бураев приглядывался с интересом. Длинный, низкий зал напоминал ему старинные палаты, с залавками, с горками и поставцами, с оконцами в глубоких нишах, с печкой в изразцах-узорах, с резным карнизом. Перед старинным Спасом теплилась лампада. Висели виды Москвы и Киева, монастырей, соборов, старых городищ. За столом, накрытым шитой скатертью, сидело человек двенадцать. Наденька, единственная дочь Глаголева, была хозяйкой, чинно разливала чай. «Милая какая», — полюбовался на нее Бураев, — «сарафан наденет — совсем боярышня». Очень ему понравилось, когда она спросила, не подымая глаз:

— Вам как позволите, всладкую . . . или будете пить вприкуску?

«Вот, целина-то-матушка . . . словно из XVII века вышла!» — подумал он. — «А глазки, как-будто, строгие».

Он любовался свежестью ее лица, румянцем, гладко причесанной головкой, черной косою в ленте. И ду-

мал: «как она несовременна! редко таких смиренниц встретишь».

Он закурил. Наденька вскинула ресницы, чуть взглянула.

— Пепельница там, — сказала она тихо, поведя глазами к двери, — чаю я могу подать туда? . .

— Простите, может быть за столом у вас не курят . . . — спросил Бураев. — Разрешите?

— Как угодно, — сказала она так же тихо.

Он смешался. Ждал обыкновенного — «пожалуйста, курите», а тут — «как угодно». И не стал курить. Она спокойно продолжала разливать. Подсел лесничий Высокосов, знакомый по охоте.

— В чем, собственно, тут дело . . . цель собрания? — спросил Бураев.

—Россию ищем, — подмигнул лесничий. — Перейдем подальше, а то тут . . . для некурящих. Наденька не любит, еще, пожалуй, забранится. Правда, Надюк? Я ведь ее такую помню, на руках носил. А, правда?

— Правда, — сказала Наденька.

— Что же «правда», — спросил Бураев, — что Андрей Михайлыч на руках вас нашивал, это неудивительно, конечно . . . и я бы, пожалуй, мог . . . или «правда», что вы, пожалуй, забранитесь?

— Последнее, — сказала Наденька, не улыбнувшись. — Это только сегодня исключение, а то я никогда не позволяю.

«Вот так смиренница!» — подумал весело Бураев.

—О, вы строгая.

— При чем тут — строгая? Воздух должен быть чистый в комнатах.

Саказала скромно, не взглянула. Это ему понравилось. В профиль она была еще милее: совсем как монастырка.

— Ну, мы отойдем подальше, чтобы не смущать, — сказал Бураев, ожидая, что она посмотрит. Но она не повела ресничкой. Они уселись на залавке.

— Так вот как . . . ищите Россию. В чем же дело?

— Чудаковат немножко Мокей Васильич. Видите стиль-то, — показал лесничий, — с папаши. Старик был, правда, самобытный. И крутой. Внучка в него характером, цельная натура, само-бытка. Сразу ее не разглядите. Вышла из гимназии, хочет учиться дома . . . — не по ней! Я ее — Надежда-Правительница величаю. Это вот собрание устроить папаша чуть ли не на коленях у ней выпрашивал. Говорит — глупости! Да и верно. Видели, что получилось?

— Однако . . . — сказал Бураев, смотря на Наденьку. — Сколько ей, шестнадцать?

— Восемнадцать. Если бы не она, Мокай Васильич все бы давно растряс с разными планами своими. То жена-покойница держала, а теперь вот «мать-игуменья». Деньги все у ней, а то бы все на книжечки . . .

— Ну, а это собрание? Ведь серьезные все люди были. Если знают Глаголева . . .

Лесничий отмахнулся.

— Наши кряжики-то то-же, сам с усам. По-литики. А вот. Мокей наш давно готовит труд «Русские основы», томов, говорил, на пять. Отыскал в Москве союзника, одного молодого историко-философа, самого этого Гулдобина . . . говорят, будущее светило, громаднейшей энергии. И вот они решили создавать новую ин-

теллигенцию. Старая обанкротилась, выветрилась национально, назначение свое «выбить национальную искру» выполнила, — в отставку! Вы знаете идею Столыпинской реформы? ..

Бураева все это мало интересовало. Но он был взвинчен, радостен, — куда ни шло!

— Немножко знаю, по газетам. Ставка на сильных, кажется . . .

— Вот, это самое: на крепких мужиков. Выдел на хутора, развитие собственничества . . . Ну, так тут ставка на национально сильного интеллигента. Где его найти? В недрах! Кстати, после 905-го, начался пересмотр идеологий в интеллигенции. Вот они и кладут «основу». Гулдобин ездит по городам, делает, так сказать, пробные посевы. Народную интеллигенцию, в самом коренном смысле, с перекрестков и торжищ, собирают, «самобыть», не мелкотравчатую только, а, главное, кряжистую, для основы-то . . . с национальными заветами, но не с тройцей только «самодержавие, православие, народность», как у славянофилов, а с широкими поправками на современность. Основа — черпать из народных недр. Проекты очень грандиозные . . . Могущественная печать — посильнее «Слова» . . . с Сытиным уж Гулдобин пробовал, пока не вышло, огромное «национальное издательство» . . . много всего. А когда кружочки образуются, двинут в дело . . . тогда уж вдвинутся в политику.

— Да, тут политика в основе!

— Пока нет. Мокей хоть и блаженный, а упря-мый. И нашего «ястребка», губернатора, заполонил, уроки дает его балбесу. Тот — полное содействие. Очевидно,

метит в Столыпины. Вот они оба и готовят обширную записку в министерство. Стал Мокей кряжей-то собирать, а они уж пронюхали... и заявились. А то бы разве стронулись! И уплелись, благо крушение случилось, Гулдобин оторвался. Сегодня как раз интимная беседа предполагалась, с «крепкими».

— И мы с вами, выходит, в крепкие попали?

— Ну, какой я крепкий. Меня-то Мокей знает, наши отцы еще дружили. Не возражаю, хуже-то все равно не будет. Интеллигенция в разброде, не мешает и нового сочку подбавить, только они заносятся... «Миссию» опять давай! А вас он, видимо, облюбовал чутьем, считает н у ж н ы м... Мокей не глуп. Видите, народ! Повыбрал годных, с нервом. Копнуть у нас — всего найдется. У меня лесники есть... и воры, и святые, и анархисты, и Мининны. Материал найдется на всяку стройку. А у вас в роте?..

— Есть удивительные молодцы. У меня в учебной команде были... ох, какие! — сказал Бураев.

— Город наш я знаю больше сорока лет, рос с мальчишками... Есть и пропали, а есть — и много! — таких, что и американцев за пояс заткнут. Россию надо знать. Здесь вот, все с отметиной. Отъехавшие... все в своем роде знаменитости, сами в люди вышли, народ серьезный, могут и дело делать, и обмозговать, и жертвовать, коль их зацепит за живое. Надо зацепить уметь. Мокею не зацепить. Ну, а Гулдобин, если по душе придется, может и зацепить. Если психолог, как Мокей поет, да умница, да с огоньком... может наклевать. Да вот, попик молодой, черняевенький, все руками сучит? Это отец Никандр, с Гончарной, так и зовут «му-

жицкий батя»... За ним и депо, и фабрики. Ведет! К Богу ведет и к родине. Все его прихожане, поговорите... — патриоты! Ни один агитатор теперь и носа не сует. За пять лет увел и в недра православия, и к России! Вдовец — аскет. Ничего не имеет, все отдает. Пробовал архиерей его за «протесты» изымать... — помните, тысячная депутация пришла к собору, требовать архиерея? И подали петицию. А вот того лобастого старика видите... на апостола Петра похож, нос, как у Сократа? Это огородник Балунов... фи-гура! Из такого теста Ломоносовы выходят. Василий Родионыч, папаша-то Мокея, выписал его из своих мест, под Жиздрой. Был подпаском. И вот, от лаптя — чуть ли не миллионер. И, уверяю вас, ровно никого не грабил. Не смотрите, что он в чуйке. Это он чудит, и из гонора. Чуйка его эта стоит дороже сюртука со смокингом, «аглицкого королевского суконца-с». У него в Смоленской свыше двух тысяч десятин какого строяка, сам меня возил проверить, ладно ли ведется дело. Говорит — «все у меня с огурчика!» Зимами «про историю» читает, летом с зари работает, «по огородцу-с». В Думу выборщиком прошел самостоятельно, вне партий. На депутата предлагали баллотироваться — не захотел: «в следующий раз подвигнусь, говорит... вот как прочитаю про финансы!» И читает, уверяю вас. С Каблуковым переписывался, сам к нему ездил за указанием. Ключевский езжал к нему, рыбу ловили вместе. Переписывался с ним... Это вот сила, может Мокея подпереть и за волосы попридержать. Видите, как ему Надежда чай-то подала, ласковая какая! Молится, прямо, на него, на крестного. Он и Мокея выручил, как тот

после жены, тому три года, чуть было в трубу не вылетел, с закладной увяз. Старик-то тоже особый был, знал Мокея... двести тысяч положил на эту самую «свою Надежду», до совершеннолетия ни грошика не трогать, в Государственном Банке, в золотой ренте положил, «а ты, говорит, учительствуй, Мокешка, с тебя хватит... а дочка без хлеба не оставит!» Мокей все бы на книжечки ухлопал.

— Богатая невеста!

— Присватайтесь... А вон тот, в пиджачке, синяя фантазия, рябой? Это мастер из депо, Пафомов... тоже особенный. Из «савлов», бывший социалист. Теперь — поговорите с ним... это уж, сам как-то доискался, — «русская основа». Друзья с о. Никандром, не разольешь. Крутят что-то свое, «ведут». И этот может подпереть. А рядом с батей — мещанин Сергеев, лошадник. Этот был «союзник», самый ярый. В 905-м что вытворял!.. Теперь в «национальный социализм» какой-то метит, не разберешь.

К ним подсел Глаголев. Блестя очками и тряся кусточками бородки, — за кусточки прозвали его гимназисты — «Мох Васильич», — он начал объяснять «идею».

— Я уж просветил Степана Александровича, — сказал лесничий. — Говорит, это хорошо — искать Россию... только вот не знает, куда она девалась!

— Нет, серьезно... одобряете?

— Что вам мое-то одобрение... ищите! — посмеялся и Бураев. — Наше дело другое... мы, военные, не общественные люди.

— Думаете, что здесь политика? Ровно никакой политики! Наша задача новую интеллигенцию создать, национальную . . . чисто просветительные цели-с. Определить себя . . . к России! Что когда-то было достоянием русских исключительных умов . . . Хомякова, Акасакова, Самарина, Достоевского, Леонтьева . . . — вон все они! . . — показал Глаголев на портреты, — и что теперь почти забыто, сделать это народным достоянием-с . . . представить в уточненной форме, близкой и понятной массам. Это уже будет не «славянофильством . . . тут звучит некая как бы насмешка . . . а «русской основой», символом веры как бы . . . Но не навязывать, как плод интеллигентской мысли, а вывести на всенародную проверку, поднять повыше, — вот, пожалуйте, смотрите и решайте! А то ведь все под спудом. Молодое поколение даже и не подозревает, чем владеет. Многое сознательно скрывалось, уверяю вас! Скажите по совести, ну, знаете вы сами эти сокровища национальной нашей мысли?

— Очень мало знаю . . . пожалуй, и совсем не знаю, — сказал Бураев.

— Видите? . . Наша задача, между прочим, не только это «вскрытие» . . . а и обновление, и пополнение. Надо раздразнить национальный нерв и дать ему питание. Наш национальный нерв дремлет . . . или возбужден искусственно, как-бы сивухой отравлен, да-с! Вот вам . . . — шопотом заговорил Глаголев, — хотя бы эти «союзы русского народа», «гражданины», «богдановичи» . . . много всего там, в Питере! . . Через это чистые национальные порывы забрасываются грязью и извращаются. Носитель национальных идеалов клеймится «пере-

довой» интеллигенцией как черносотенец, а этого клейма боятся. Наша задача — научить смело мыслить, по-русски мыслить и по-русски чувствовать и не бояться исповедовать святое, наше. С этим вы согласны?

— Превосходно. Я всегда так думал и, когда надо, действовал, — сказал Бураев.

— Надо, чтобы идея охватила массы, чтобы все были как бы в круговой поруке, как бы в приказе у России... чтобы все были, как верные ее солдаты!

Слово «солдаты» приятно тронуло Бураева. Так всегда он думал: все — для России, все — верные ее солдаты.

— Наша цель в том, — продолжал с горячностью Глаголев, — чтобы найти национальные основы, наши цели... иначе мы не нация, которая живет и развивается, а пыль, случайность, которая... может и пропасть в случайном!.. Случай — для слепых. Пора быть зрячими. А мы? Соберите десяток любых интеллигентов и спросите... какая цель России? Никто не скажет или каждый по-своему ответит. Полный разброд, как на распутьи... топчемся! Нет национальной, вещей цели. Мозг страны — в разброде. — Чего же спрашивать с народа!..

— Позвольте... — вмешался батюшка, — дополнить. Цели не желают видеть, а она ясна, как солнце. Была и ест, только о ней забыли. По наблюдению, которое имею, самые честные и культурнейшие люди... был я недавно в Петербурге и слушал беседу в религиозно-философском обществе... лучшие люди растерялись и в большой тревоге... честнейшие и чуткие... но хоть и ощупью, а ищут. Найдут ли? Далеко ищут,

а о н о близко, но... не в Петербурге! По-бо-жьи! — вот что. Вот она, цель России, вещая... И она — в народе. Божье зернышко упало на Россию с неба! У меня в приходе почти пять тысяч... и даже самый последний, самый блудник и грешник, знает... что? А вот что: надо жить по-божьи! Вот «основа». Положите во главу угла. Устроить нашу жизнь по-божьи — раз, и прочие народы научить сему — два. У других народов вы не услышите «по-божьи». В богатейших и славнейших странах... что? Там другое! Не по-божьи, а... «как мне приятно» и «как мне полезно»! Мне!.. А как это приятное и полезное заполучить? А... «как возможно легче и практичней»! Правда, когда еще сказал Шеллинг, что христианство есть откровение Божества в истории! Божество-то открывалось, и не раз, и будет открываться... в истории, а его не могут и не желают видеть. Теперь сугубо не желают. Слишком теперь по-Протагоровски: человек есть мера всех вещей! И меряет. Помните Манфреда — «и кто всех больше знает, тем горше должен плакать, убедившись, что древо знания — не древо жизни»! Хоть и тоже давний, а господин Штирнер пронизал-таки всю жизнь, и теперь уже и у нас, в массы даже проходит принцип — «каждый свой собственный бог, и все против друг друга, и все со всех сторон против Бога»! А душа народа нашего с в о е несет. Она за, за государством видит... цель-то! У нашего народа государство в душе-то никогда и не было настоящей целью, а только средством к высочайшей цели, к Богу! Потому и негосударственен, он вождей высоких ищет... И дайте ему — вы-со-ких! Идите из его — «по-божьи»! А политикой его не взять,

если политика во-имя только государства. Его пути на... запределье! Или к Богу, или уж, если поведут в другое запределье... так к дьяволу! Надо выбирать... Наши интеллигенты хотят его пострич, притишить, пиджачок ему приобрести, в «культуру« его ввести, чтобы он тоже — «как мне приятно» и «как мне полезно»... А он ломаться долго будет. Может и обломают, только, ведь радости тут мало. Ему... зернышко Христово пало с неба... вот и надо, как я понимаю «основы» ваши, набирать духовных воинов, в нем самом... можно и из интеллигенции найти, просеять... и вот на этой-то закваске и ставить тесто. Добрый будет хлеб!.. Это-то и значит, как я разумею... искать Россию!..

«Ну, кажется, с меня довольно», — решил Бураев и хотел подняться. Но тут вмешался огородник. Это был высокий, очень сильный человек, с пышными седыми волосами, крепкоскулый, похожий на апостола Петра. В синей, щеголевато сшитой чуйке, он чувствовал себя свободно: ходил размашисто и подбоченясь, пристукивая каблучками. Бураев на него залюбовался: «вот такие бывали атаманы».

— Крестница вот моя, Надюша... — кивнул он к Наденьке, которая сидела за столом и мыла чашки, — сейчас мне говорит: «Кресенький, что ж ты не скажешь?» Хозяйку надо слушать, особливо разумную хозяйку... Чашечки перемывает, а ничего не забывает! И вот я сказжу. Правильно, батя. Хоть мне и давно пора, в четыре подымаюсь, но скажу словцо. Будем из истории. Покуда в народе дух живет, он живет. Как дух его пропал — долой со счета. Зернышко Христово

в нас есть, да плохо прорастает. Мало, чтобы только по-божьи. Моя старуха живет по-божьи, а и ей этого мало. Ей обязательно подавай — царство небесное! Она вон в вечную жизнь нацеливается! И дорожку туда ведет. Другое. Вон у меня ребята даже поют: «Наша Матушка-Расея всему свету голова!» А мы будто тому не верим, а? А кака махина-то! Будто и без причины? Без причины и чирей не садится. Для чего удостоены такого поля? По такому полю и дорога не малая, а прямо тебе бо-льшак на самый что ни есть край света! А где поводыри? Идем слепыми, где поводыри? Римская Империя тоже была махина, но свое сделала. Это глупые люди писали раньше — па-де-ние Римской Империи! Не падение, а по-беда! Из такой нивы вырос такой колос, наш Поводырь-Христос! И сказал : Империя Моя во весь свет! И оборотился ко всем народам. И было много званных, мало же избранных. И пришел в конце концов к самым распоследним, к лесным-полевым-водяным, от моря до моря сущим . . . потому что не пошли на Его зов душевно прочие, а занялись своими делами. А вот к нам, бездельникам, все стучится. Ибо есть куда: велики мы, и широки, и глубоки. Но мы все не отворяем. Вот, последнее место осталось Ему на земле. Или отзовемся, и сами в Царствие внидем, и других приведем, или . . . велит вострубить Архангелу, и Суд начнется. И пойдет новая история, из отсева и остатков. Вот во что надо ударять России. Но только сие не с Питера пойдет, и не от суетных интеллигентов, а от смиренных и верных установленному от века гласу — «во Имя Мое»! Россия-то нужна, но надо, чтобы и дух в ней был, чтобы знала, зачем она. А то

— так размотается без пути, как прочие. Ну, поехал, и будьте здоровы.

Прощаясь он подошел к Бураеву.

— Извините, господин офицер, спрошу вас... вы будете не капитан Бураев, ...го полка, по 3-ей роте? Полк-то я вижу...

— Да, я Бураев. Что вам угодно?

— Позвольте-с пожать вам руку. У меня внук у вас в роте, Конон Козлов.

— Да. Исправный унтер-офицер, хороший взводный. Что вам угодно?

— Да ничего-с, господин капитан! — весело сказал старик, блеснув зубами. — О-чень вас хвалил...

Бураев засмеялся.

— Очень рад.

— И мне вы очень пондравились... осанка-то у вас такая!

Старик повел плечами и размахнулся — хлопнул по руке Бураева, сдавил клещами. Оба взглянули друг на друга и засмеялись.

— Если что, жучьте его что ни есть строжей, ваше благородие!

— Не за что пока, — сказал, смеясь, Бураев, — а придется, за этим не постоим. А позвольте, — пошутил Бураев, — как же это он здесь в полку остался? Здешних больше в Варшавский округ направляют...

— О, какой вы то-нкий, ваше благородие... — весело мигнул старик. — Верно, что было бы не по закону... дескать исхлопотал, мошенник! Только я-то Балунов, а он Козлов, внук от дочки... а она в Харькове, своя торговля скобяная. Оттоле и прислали, как

угадали, мне на счастье, а вам на выучку. А что, ваше благородие... хорошие у нас солдаты?

— Хорошие, — ответил в тон ему Бураев.

— Так что, если нас когда били или будут бить... солдат не виноват, ваше благородие?

— Ну, конечно.

— Так-то, ваше благородие, и народ не виноват, я полагаю, что разные там непорядки?

— Ну, конечно! — все так же весело сказал Бураев.

— Всегда так думал-с. Теперь вы Балунова Илью знаете. И вот-с, как Нижне-Садовую минули, за речкой дом на горке... Милости прошу ко мне, ежели не побрезгуете, попить чайку с медком. Очень вы мне пондравились!

Даже отступил и пригляделся. Бураев засмеялся.

— Очень приятно. Вы мне тоже.

И опять пожали руки. «Вот чудак, прилип!» — подумал весело Бураев и пошел к Наденьке проститься:

— Не очень сердитесь?

— На что? — окинула она глазами.

— Да очень накурили!

Она чуть усмехнулась:

— Памятливый вы. Нет, на вас тем более.

— Почему же ко мне такая снисходительность?

— А... крестному понравились... и она по-детски засмеялась.

— Вот почему... Он для вас большой авторитет?

— Очень. Он никогда не ошибется в человеке. Значит, вы хороший.

— А как вы сами думаете?

— Так же, — сказала она серьезно.

— Ох, не сглазьте! У вас глаза не черные?

— Нет. У меня серые глаза, — взглянула она доверчиво.

— Правда, у вас ... смелые глаза.

И засмеялись оба.

Дождь кончился. Сияли звезды. Бураев шел счастливый, смотрел на звезды. Свежий воздух был напоен сиренью. Бураев слышал только этот запах, белый. Видел окно и Антонину с веткой. Сирень уже завяла. Он поцеловал ее и спрятал. Любит!.. — говорил он звездам. Звезды говорили — любит.

Сонный Валясик доложил, что все исполнил. Бураев не узнал квартиры. В пустынной спальне стоял бывалый гинтер. Застонал, когда Бураев повалился. Заснул он сразу.

... Крапал дождик, сумерки сгущались. В открытое окно светлело небо. Кто-то поглядел оттуда. И пропал. Слышались шаги у дома. Осторожно постучали в спальню. — «Кто там?» — спросил Бураев, зная, что это женщина. Он был голый и поспешил закрыться. Увидал, что это старая его шинель, с войны. Дверь стала тихо отворяться. Женщина вошла неслышно. — «Что вам нужно?» — спросил Бураев. Женщина молчала, шла к нему, неслышно. Он понял, что это Лиза Королькова, только другая, совсем старуха. Молча посмотрела и села рядом, очень близко. Стало ужасно неприятно, страшно. Он чувствовал ее коленку, льнущую к нему. И понял, что она хочет лечь с ним рядом. И они легли ...

Он проснулся от ужаса и отвращения. Как наяву, — он слышал вздохи, поцелуи. Он вскочил. Пахло сырой землей, болотом. В окне серел рассвет. До боли колотилось сердце. Ужас и отвращение не проходили. Долго он сидел на гинтере, смотрел, как рассветало... Засыпая, слышал нежный, монастырский перезвон.

Разбудил Валясик:

— Ваше высокоблагородие... их благородие ротмистр Удальцов приехали!

— Что такое?.. Попроси... сейчас. Ах, новый день!

Как по тревоге, начал одеваться.

Ив. Шмелев.

(Продолжение следует).

Добавления

к

роману

этюды

ПРОВОДЫ

Солнце только что поднялось над садом, когда приезд сыновей встряхнул полковника. Он ждал их к ночи, и вот — прощаться. В походной форме, новенькие ремни, бинокли . . .

— Да-да . . . на три часа, только? . . — несвязно говорил он, щурясь, — догоните полк? . . Валяйте, валяйте . . . так-с . . . Да, Европа . . . придется повозиться . . . Я еще к вам подъеду! . .

— Тебя еще не хватало! . . — сказал капитан. — Покурим лучше.

И когда полковник брал вертлявую папироску, у обоих подрагивали руки.

— Ну . . . пока самовар, в сады пройдемте.

Он обнял капитана и потянул с терасы.

— Идем, Пашуха . . . — захватил он и младшего. — Яблонька-то твоя «Поручиково — любимое» . . . помнишь? . . — и у него пересекло голос.

Молча обнял его поручик. Насвистывал через зубы марш, поглядывал по верхушкам сада.

— Почему это — «нехватало»? — нарушил молчание полковник. — Я еще молодцом! Когда Суворову было . . .

— Чего — Суворову... «Пульки» свои сыграл, с одной и сейчас гуляешь... сады свои насадил, вот и посыпай песочком!

И высокий, плечистый капитан — в отца, черноусый только, — прихватил старика за плечи и покачал. Поручик шел и насвистывал.

— Да ты обо мне что же?.. — вскричал полковник; и не успел капитан опомниться, как полковник свалил его.

— Под Карсом, в редуте так... то-же капитана, «песочком»!..

Навалился на них поручик. И солнце играло с ними, на новых ремнях и голенищах, на розоватом полковничьем затылке...

Побывка была до поезда. Когда заложили тарантас, и слышалось от сарая ржанье, полковник опять повел сыновей в сады.

Было жарко до духоты. Давно прогуляли поезд. На припеках трещали кузнечики, кололо глаза от блеска. От пыльных елок закраины томило смолистым жаром.

— Антошка-то разделывает! — показывал полковник. — А вот — «Поручиково-то — любимое»... помнишь, Паша?..

Не узнал яблоньку поручик. Шутя посадил, а вот... какая! Сажал — загадывал: когда будет поручиком — станет она, как эти. Он стал поручиком...

Они прикусывали деревянные еще яблоки и пускали через верхушки, в блеске. Зеленая кислота вызывала в них вольность детства. Они шутили, но в глазах их была забота: другое — ждало за садом.

Поручик, белокурый, и тонкий станом, — в покойную мать-казачку, — сказал, мечтая:

— А знаешь, папа... а я ведь в отпуск хотел к Успенью, на твои яблочки! Сюрприз бы тебе привез...

— Сюрприз?! — оживленно спросил полковник, — по-детски вышло, — и отвернулся, щурясь. — Невесту, что ли?..

— Сюрприз. Эх, па-пка!..

Капитан подшиб кузнечика фуражкой, поймал за ножки и крикнул — «смирна-а!» Кузнечик вытянулся и замер. Они смотрели.

— Ну... — остановился полковник у старой яблони, словно сюда и вел. — Сады сажал — о вас думал. Но это не то... Т е п е р ь... один у нас сад... Россия! — сказал он поникшим голосом, и яблони затянуло паутинкой. — Ну, понятно. В поход... и надо, вообще... У тебя, как, Степа... есть к т о - н и б у д ь? Вашего я не знаю...

— Серьезного ничего... — сказал капитан в усы.

— Если что, пусть ко мне адресуется. Понятно, если ребенок. Помер?!.. Эх, вы... Надо было... с л е д по себе оставить! А ты, Паша?..

— Ну, что ты, папа, с глупостями! — смущенно сказал поручик.

— Мальчик, не глупости! — потянул его за ремни полковник. — Самая жизнь и есть. Но... теперь отрублено. Т а м — другое. Невеста у тебя, в Калуге? не связан? На войну идешь — подберись, завязки чтобы не путали. Мы — солдаты!

Сильней, чем раньше, почувствовал полковник кровную связь с ними, с мальчиками-солдатами, которые не оставляют ему следа.

— Нет, папа... — тихо сказал поручик, — не связан. Мечтали только...

Они вернулись плечо к плечу. У крыльца поджидал Аким в тарантасе, покуривал.

— Шесть сорок, товаро-пассажирский... — сказал полковник. — Всегда запаздывает. Успеете...

— Поспе-ем, не на свадьбу... — отозвался с ленцой Аким.

— Неводком бы теперь, Аким! — заглянул под рукав поручик. — Нет, не поспеть!..

— Лещей бы захватили! — сказал Аким. — Денек бы хоть погуляли?

— Догонять эшелон надо...

— Так точно, нельзя! — по-солдатски сказал Аким: был он ефрейтор, в годах, и сам ожидал «срока».

Оставалось самое трудное, они знали. Знал и полковник — и все оттягивал. Затем и приезжали. И вот подошло оно.

— Пройдемте... — сказал полковник.

Он привел их со света в спальню, с неоткрытыми ставнями, с неприбранною постелью. Теплилась синяя лампадка.

Они тихо вошли, в томленьи, подчиняясь всему покорно: время всему приходит. Полковник, строгий, перекрестил молча и надел каждому образок Николая Чудотворца.

— Тебе, Степан... дедовский, Севастопольский... — тихо сказал полковник, благословляя капитана. —

Тебе, Павел, мой . . . Кавказский. Да сохранит вас . . . А этот — мне . . . — показал он на темный, в серебреце, на затертом малиновом шнурочке, — давний наш, Бородинский, прадедов. Помните . . . вы — солдаты! . .

Они знали темные образки, священную их историю. Смущенно поцеловали их и стали спешно вправлять за шею.

— А это, дети . . . — показал на Казанскую полковник, — покойная мать вас благословляет. Будьте . . . крепки!

Они перекрестились и поцеловались молча. Он ткнулся к жестким воротникам, тер и колол щетиной и с нежностью мял за плечи.

— Ну . . . все.

Вышли опять на солнце. Полковник обнял обоих, объединяя собой, радуясь молодости и силе и пригнанной ловко походной форме.

— Матери нет . . . поглядела бы хоть, какие стали! Нет, лучше не . . . Помни, ребятки: солдата береги, назад не смотри, зря голову не подставляй! . . Ну, ладно.

Уже садиться, — поручик вынул из внутреннего кармашка и показал полковнику:

— Вот . . . хороша?!

— Хороша . . . — сказл полковник, не разглядев.

Он проводил их за край садов. Шагал, держась за крыло тарантаса, толкуя о мелочах, наказывая Акиму забрать отрубей у Куманькова . . . На речке помахали фуражками: не хотел в вагон провожать полковник.

Возвращаясь садами, остановился у шалаша и сел. Услыхал поезд, свисток от полустанка...

— Опаздывает... без четверти семь...

Пустыми показались ему сады. Вспомнил кузнечика... Пошел к дому. Стоял на терасе, зяблика слушал, думал.

Садилось солнце — огромным кровавым шаром.

МЕТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Через неделю взяли на войну садовника Михайлу, правую руку полковника. А там забрали и кучера Акима, бывшего вестового.

Полковник каждого проводил честь честью, до конца сада, и расцеловался. Подарил на дорогу по пятерке. Наказывал:

— Пиши, в какую назначат часть, как и что . . . Может еще и встретимся.

И тот и другой сказали в одно слово:

— С вами бы, ваше высокоблагородие, довелось! . .

Стоял сентябрь. Яблоки были сняты и проданы. Сады редели. Дни выдавались сухие, солнечные. Остался полковник с мальчишкой да со старой Василисой. Сам кормил поросят и кур. Попиливал сушь в садах, складывал на зиму подпорки, — сады прибирал с мальчишкой. К вечеру выходил на бугор — на запад. Там багрово садилось солнце. Там шумела война. К ночи долго читал газеты, радовался, ругался. Ночью ждал телеграмм . . .

Телеграммы пришли, — и ночью. В конце октября, в заморозки, узнал полковник, что оба сына в госпитале, ранены под Луцком и Равва-Русской, но поправляются, «будь покоен». Оба — с боевыми отличиями —

Станислав и Анна с мечами. Тому и другому полковник послал по телеграмме:

«Поздравляю, благословляю.»

Выслал по сто рублей — «на яблоки» — и по ящику пастилы. Поехал в Рожново, отслужил молебен. И казалось ему, что сегодня праздник. Объехал знакомых по усадьбам, делился радостью.

Ходил на рябчиков, по можжухе, ставил на речке вентеря на налимов. Радовался, что галки появились на усадьбе, — ранняя зима будет. Показывал Василисе карточки Степы и Паши, с фронта, в кругу солдат. Стучал пальцем и говорил:

— Там уж, понимаешь, как семья... солдатская! Ро-сси-ю защищают... Там уже не служба, а... как обедня!

Вздыхала Василиса. У ней тоже забрали, Гаврюшку-внука, да только и слуху нет.

— Однова всего отписал... под этим вот, под германцем, будто... при пушках ходит. А то и слухов нету...

— Это пустяки, при пушках! — говорил полковник. — При пушках убыль невелика. А вот в пехоте нашей... мои вот где!.. На ней — все. Пехота — святое дело. Без пехоты ни шагу: на самые пушки идти должна!

— У-у-у... на пу-шки?!.. — вздыхала Василиса.

По первому снегу, в ноябре, пришло из-под Варшавы измазанное письмо от кучера Акима. Писал Аким, что ранен в ночную вылазку, как проволоку ходил резать, — и заработал Егория. Послал ему полковник десятку на поправку. А на Николу получил телеграммы

от сыновей с фронта: «Хорошо все, здоров.»

Не сиделось дома, горело сердце. По веселому снегу покатил полковник в село на саночках — размотаться. Даже к Куманькову в лавку зашел, — свежей икрой Куманьков хвалился, «донского выпуска», пригласил с порожка:

— Ва-ше Превосходительство! Икорка — прямо . . . недосягаемо!

— Да что икорка . . . — поговорить приятно.

До темной ночи мотался по дорогам, по усадьбам, — покою не находил. Хотелось ему мятели: солнце со снегу глаза кололо — кровавое солнце на закате. По газетам видел: большие идут бои.

С рассветом пришла мятель, на Стефана Преподобного, девятого числа, — день Ангела Капитана. Ездил полковник на полустанок, отправил телеграмму. Насилу домой добрался . . .

Засыпало-замело сады невиданною метелью, — столбами сыпало, вытряхивало кули небесные. Выше ворот сугроб намело с вихром. Стоял полковник, в широкое окно смотрел как потонула зеленая водовозка, — одни оглобли торчат, с вершок, — свету Божьего не видать! Смотрел и думал: «там у них тоже, небось, метели . . .»

Пошел в темную спальню и затворился. А когда вышел, смотрит — пирог на столе стоит: упомнила старая Василиса Преподобного Стефана! Поглядел на пирог полковник, да и задумался, — и пирога не тронул. И уж затемнело, засинело в окнах, а все стегает. До ночи все тосковал, метался, прикладывался к окнам. Сыпало еще пуще.

А на утро — мороз, прочистило, ярко-ярко. И по новой, по сахарной, дорожке приехал начальник полустанка на розвальнях, привез от Степана телеграмму — «благополучно, будь покоен». Крякнул полковник, потер лицо, встряхнулся-отмахнулся:

— Прямо ты меня... спрыснул! Метель эта, понимаешь... пуля у меня живет под сердцем... Выпьем.

Выпили с гостем «на черствого именинника», закусили пирогом вчерашним, как из печки, — морозила его Василиса и прогрела, — с куманьковской икрой, — ничего икорка! — потолковали о метели, сыграли в гусарский винт. Наградил полковник начальника полустанка пачкой новых пластинок грамофонных:

— И оставить можешь Только «Трубят голубые гусары» и «На смотру» верни обязательно! Иглы у тебя плохи, царапают.

В январе пришло, наконец, письмо и от садовника Михайлы: был ранен под Перемышлем, остался в строю и снова ранен — в живот «накось», ничего, выпишут скоро на поправку. И ему послал полковник десятку.

Пришла на Сретенье телеграмма от Павла: «поздравь Владимиром!» Заплакал, как прочитал, полковник. Опять места не находил. Вынул из рамочки на стене свой портрет, вставил в рамочку телеграмму, повесил. И сказать некому, а что Василиса понимает! Сказал себе, о Павле думая:

— А какой был тихой!

Взглянул на портрет покойной жены, сказал портрету:

— Ка-кой т в о й - то!..

К весне стал задумываться полковник. Стали снега сходить, стали деревья плакать, крыши капель погнали. Стали ворчать ручьи и днем, и ночью. Заиграли по зорям галки. По-весеннему мягко запахло дымом и навозом. Воробьи заточили-завозились на потеплевших тесовых крышах, по тополям, в ледяных проточинах принялись на солнышке купаться-подчищаться. И вот — зашипели грачи за окнами, а там и скворцы примчали на скворешни, — и пошла, и пошла весна.

Стало трепать сады теплым, с дождями, ветром, пушило соломенную окутку молодняка, — в сады манило. Ходил полковник в высоких сапогах, смотрел просыпающихся и спящих, — любимые свои яблоньки — разматывал окутку.

Теплые пролили дожди, пригрело, — и стало надувать почки.

В мае стали сады цвести.

В мае неожиданно приехал старший, тоже теперь полковник, с орденами, — и без ступни.

Ахнул старый полковник, глазам не верил:

— Да ты ж писал?! .. Да как же . . . я-то не знал?! ..

— А зачем тебе знать, полковник? Это еще когда! .. под Горлицей потерялось . . . в самый день Ангела, полковник!

— В день . . . Ангела?! .. А как же . . . телеграфировал? ..

— Ну . . . это тебе бригадный, из уважения, ну . . . по моей просьбе, полковник. Ну . . . жив остался! .. Все уже откатилось . . .

И вспомнил полковник метельный день, снеговые столбы и вихри, и свое метанье . . .

ЗЕРКАЛЬЦЕ

Вот уж скоро и год, как проводил сыновей на войну, и сколько всего случилось за это время, но полковнику особенно почему-то помнилось, как остался тогда один. Забыл и ночные телеграммы из Львова и из-под Прасныша — ранениях Павла и Степана и об отличиях, ожегшие страхом, радостью; забылось и «сумасшествие», как выбежал ночью в бурю и кричал черным, пустым садам и в стегавшее ливнем небо — «молодцы мои... молодцы!» — и плакал и утирался ливнем; и Степины костыли забылись. А «проводы» почему-то закрепились. В бессонные ночи думалось, и во сне приходило — повторялось, и до того живо виделось, что не скажешь, где — сон, где — явь. Стыдился себя полковник — «как старая баба, право!..» — и вспоминал — томился. Сколько прошел походов, видал смертей... и в Туркестане, со Скобелевым, и Карс штурмовал, — с пулькой турецкой ходит, — это не вспоминается. А тихий июльский вечер, с огненным солнцем в яблонях, когда затаенно слушал, как громыхает поезд, выходит из головы, из сердца, — ошибка Павлика? «Пустяк, понятно...» — разбирался в себе полковник, — «естественно, волновался мальчик... вполне естественно...» Но этот «пустяк» не стерся.

Выйдет в сады полковник, порадуется — полны, урожай, прямо... не запомнишь! И потянет под Пашину яблоньку, «поручиково — любимое», —на цинковый ярлычек взглянуть, с острой пометкой ножичком в день прощанья: 29. VI. 1914. Глядит и думает... Надо бы «VII» пометить, июль-месяц, а он ошибся, и вышло 29 июня, самый день Ангела, Петров-день. Вполне естественно, что тут думать! А думалось.

Глядит полковник на ярлычек, — сияли царапины на цинке, теперь померкли, — и все-то сосет на сердце. И пойдет разворачиваться, болью...

Благословлял в полутемной спальне — приехали под утро, так и остались ставни, — надевал походные образки. А они смущенно-торопливо, словно им было стыдно, заправляли крутившиеся шнурки за ворот. Вышли на яркую терасу, жмурясь, — кололо солнцем. Он обнял их, накрепко потянул к себе, объединяя собой обоих, и сказал, зажимая боль, бодро сказал, отчетливо, радуясь молодости и силе их, и ловко пригнанной, уже походной форме: «так вот... ребятки... солдата береги, назад не гляди, зря голову не подставляй». И тут подумал — ныне уже решенное: «будет и мне там дело». Ходили в садах, возились, чтобы унять разлуку. Проводил за сады, до речки, — на полустанок не захотел, где люди, — шагал у тарантаса. Расцеловались, помотали фуражками. Помнилось Пашино лицо... нежное, как у девушки, незагоравшее никогда, — «мамочкино лицо», «свежее молочко в румянце», — влажно блеснувший взгляд, и ободряющий оклик из взметнувшейся клубом пыли: «па-па... ты не ску-

ча-ай!..» Это вот — «не скучай»... Пыль, ничего не видно, и крик за пылью... — так и застряло в сердце.

Возвращаясь тогда садами, полковник сел у шалашика, курил и думал. Не думал, а мысли путались. Смотрел к закату, в огненный отблеск неба, в огненные просветы сада. Высвистывал зяблик в яблоньке, словно жалел с полковником — как же пусто! С полустанка свисток ответил — пу-у-сто!.. И пошел удаляющийся рокот. «Уехали...» — со вздохом сказал полковник и покрестил затихающую даль. Пустыми, нежилыми смотрели теперь сады.

Он пошел напрямик домой, и вот — стрельнуло ему в глаза огненно-вечеревшим солнцем, с красной травы стрельнуло. Он нагнулся и увидал карманное зеркальце с гребенкой на алом шелке. Вспомнил, как здесь возились, боролись с ним, — стараясь закрыть прощанье. Смотрел на зеркальце... — кто обронил из них? Вышито было по шелку золотцем «взглянешь — вспомнишь»; а в уголку, чуть видно, золотцем тоже — «Мила». Людмила?.. Помнилось — на груди у Паши выглядывала алая полоска... невеста в Калуге, кажется... писал недавно — «после маневров яблоки есть приеду... о-чень важное расскажу!» Ну, понятно. Покачал головой над зеркальцем, ласково попенял — «вечный-то растере-ха!..» — и увидал бурое, хмурое лицо в сине-седой щетине, скучные, влажные глаза, глядевшие на него расстроено. Стало тусклеть, мутиться... полковник с досадой отвернулся и спрятал зеркальце. Шел не видя, в огненно-сероватых брызгах сухих кузнечиков. Вспомнил, — в глазах осталось, — без

четверти 7 указывала стрелка, когда поезд пошел от полустанка: смотрел туда, на запад. Решил отослать Паше, только вот установится отправка. И каждый день вынимал зеркальце и глядел.

Время пришло, бережно уложил, отправил. Жалко, как-будто, стало . . . да зачем ему зеркальце — напоминанье: сердце его — вот зеркальце!

Павлик после ему писал: «а я-то горевал! . . заветное, ведь, оно.» Радовался полковник, что не разбили тогда, в возне, уцелело под сапогами, — хорошая примета. Полковник в приметы верил.

В июне видел полковник сон.

Сидит у шалашика в саду и кого-то нетерпеливо ждет. Сад вечерний, в огнистых пятнах, косое солнце. Глядит на свои часы: черная стрелка показывает четко — без четверти 7. Поезд вот-вот заслышится. И уже слышит, как набегает рокот. И вдруг — за спиною шорох . . . сушью шуршит в шалашике. А поезд уже докатился, визгнул, дает свисток, но — важное что-то, за спиною! . . Оглядывается полковник, а из темной дыры шалашика крутится черная змея, в серо-зеленом крапе . . . прыгнула на него и прокусила сердце. Вскрикнул от ужаса полковник — и проснулся. Кололо сердце. Душная была ночь, в ставнях синело молнией. Долго не мог опомниться, в холодном поту лежал, в удушьи. Как наяву все было! Нашарил спички — нет ли проклятой тут, заглянул даже под кровать. С неделю не свой ходил, даже и спать боялся. Шорохов стал пугаться, змеи проклятой. А не было змей в округе.

Под Петров-день пришла телеграмма из Смоленска: ранен Павел, в госпитале, зовет. Полковник понял: если зовет — плохо. И с ночным выехал в Смоленск.

Строго вошел он в госпиталь. Ярко было на воле, жарко; а в старом госпитале с истертыми камнями — прохладно, сумрачно. В белом, отжившем, кителе чортовой кожи, с белым, забытым, крестиком за забытый Карс, твердо шагал полковник, забыв про сердце, искал офицерскую палату — 3. Долго плутал: показывали ему небрежно — туда, направо. Таилась где-то эта тяжелая палата — 3. Гулко шагал по коридорам, тяжело отбивая в мыслях влипшее крепко слово — «тяжелая палата», не понимая смысла, но чувствуя. Увидал — «3» — на стеклах, увидал грязные носилки, на которых под простыней лежало... — понял. Думал остановить... увидал твердое восковое ухо, черный вихор волос... — нет, другой.

Огромная палата, уставленная строем коек, вздыхала, стонала, бредила. Несли тазы, сестры держали шприцы, метались лица. В страшном закутке, — в ширмах— ? — в сердце полковника толкнуло — темнел священник, скорбно склонившись ухом, светя крестом. Полковник шел по рядам, выпытывая лица, не находя. Теплый и липкий воздух, налитый сладковатой прелью и лекарством, мешал полковнику, путал мысли. Спрашивала сестра — «у вас разрешение?..» Он не понял, шел за своим, не видя, не слушая, не отвечая, окидывая взглядом головы. Они метались, молили мучительно глазами, зубами, ртами. Кто-то кричал — ура-а-а!.. Кто-то остановил полковника, махнувши градусником в глаза.

— Поручик Бураев Павел . . . — кому-то сказал полковник, кто его спрашивал.

—Мм . . . а, в четвертом, кажется, ряду . . . в углу, — кто-то сказал нетвердо, выкинув туда градусник.

Но он уже узнал ее, белокурую голову, единственную из всех — темных, седых и светлых.

Маленькой, точно детской, и такой одинокой, жалобной — показалась она полковнику. Он задохнулся от жалости и боли, не совладал с волнением. Она была вдавлена в подушку там, глубоко, в углу. Он шел подтянувшись, твердо, страшась зацепить за койки, за желтую чью-то ногу . . . — дошел, и искал глаза — ?

— . . . Морфий . . . — шепнула сестра сзади.

Он опустился на табурет, кем-то ему подставленный, и глядел, задавив дыханье, боясь дышать.

Павлик — показалось полковнику — сладко и крепко спал. Смякшие, в блеклом налете, губы выпячивались знакомо, детски, как будто тянулись поцелуем; но что-то в них было новое? . . что-то в них было . . . — горькое удивление? . . боль? . . Что-то таилось в них, в тоненькой, к краю, складке, в пленочке уголка, где муха. Полковник спугнул муху движеньем пальца, но она села на щеку, и он не решался больше. Незагоравшее никогда лицо, стало маленьким, было теперь лимонного цвета с отблеском, словно натерто воском. Полковник с болью подумал — желчь?! . . Видел подавшиеся виски, с влипшими волосками, темные брови, кинутые враскось, родные . . . завалившиеся под лоб глаза, обведенные черной тенью, плотно прижатые ресницы, в капельках . . . Понял, что пот это на лице — не отблеск. «Морфий» — осталось в уме полковника

странным страшным звуком, вне жизненным. Он повторял про себя, силясь понять его, — мо..рфий... мор..фий?.. — с ужасом увидал, что задвигают его ширмами, от других, как там, — и понял, что умирает Павлик.

Он поглядел на сестру, взявшую руку Павлика, словно спросил — зачем? Она повела глазами, меряя Павлика, и шепнула полковнику, как бы в ответ на взгляд: «в живот, осколком». Он в страхе взглянул туда, в закрытое одеялом что-то- и взглядом спросил ее — «чтоже?..» Она взглядом ему сказала. Он согнулся на табурете — и так сидел. Через койку — видно было в неплотную створку ширм — накрыли желтой простыней спавшего крепко капитана, спавшего — показалось полковнику, и потом понесли куда-то. А Павлик все крепко спал.

Полковник видел все ту же, знакомую полоску — рубчик у подбородка, — в детстве рассек подковой его жеребчик, — теперь почему-то темную. Эта полоска детства пронзила ему сердце, и он, всматриваясь в сестру, сказал: «а как же... жизнь?» Но она не ответила. Он согнулся совсем на табурете, спрашивал руку Павлика, серое одеяло, на котором сидели мухи: «а как же... жизнь?» Недавно было... когда жеребчик?.. Да как же... ж и з н ь?!..

Полковник не мог осмыслить. Недавно все было ясно: родина, долг, присяга, честь, доблесть, надо, жизнь требует, жизнь велит. Жизнь... Ну, а жизнь-то как же, его-то жизнь, эта вот, на подушке, с рубчиком?.. Там, в садах, при прощаньи, в солнце, в пригнанной ловко форме, казалось ему все ясным. Куда-то теперь

расплылось, осталось там, за дрожащими ширмами. Было же только детство, вот этот рубчик... а где же — все?..

Показалось полковнику, что Павлик сейчас проснется.

Тело чуть повело, голова провалилась глубже, рука поползла по одеялу, ощупывая с дрожью: множество мелких капель, похожих на сероватый бисер, выступило на лбу, сливалось, слилось — и крупная капля слезой покатилась к глазу и замерла. Полковник услышал стон, грудь поднялась под одеялом, что-то заклокотало там... «Агония»... — сказала тихо сестра, щупая руку, словно ловя в ней что-то. Полковник слышал, понять не мог. Но понял сердцем. Он наклонился ближе, ловя дыханье.

— Па... ша?.. — позвал он вздохом, — Павлик...

Уходил Павлик, но шопот отца учуял: повел губами, губами потянулся, — показалось полковнику. И сестре тоже показалось. Полковник взял угасающую руку и пожал тихо-тихо. Шопотом, из нутра, позвал:

— Пашута... Па-ша...

Этим шопотом из нутра, голосом общей крови, вызвал полковник сына из темного провала: чуть открылись немеющие глаза из ям, и эти глаза, родные, узнал полковник. И они узнали. Серцем это понял полковник. И нежно, едва касаясь, пожал холодеющую руку. И его руке отозвался Павлик — чуть слышно отозвался. Сердцем это узнал полковник.

Когда все кончилось, он перекрестил усопшего и поцеловал его в лоб благоговейно. Кто-то шептал ему:

«успокойтес... милый, успокойтесь...» Полковник перекрестился и твердо ответил: «я спокоен».

Он был спокоен. Не было уже никаких вопросов, — «а как же — жизнь?» Жизнь заключилась смертью.

Он похоронил сына в монастыре, поставил крест, дал денег и наказал монахиням убирать цветами. Распоряжался обдуманно и точно. Не плакал даже наедине, в доме отставного генерала, дальнего родственника, у которого остановился. Когда ехал с кладбища, вдруг вспомнил, что Павлик умер в день ангела своего, Петра и Павла, — осветилось и потеплело в сердце. В нем осветилось....

И только глубокой ночью, разбирая оставшиеся вещи, увидев зеркальце на алом шелке, полковник дрогнул и зарыдал. Прыгало в руке зеркальце, и прыгало в нем трясущееся лицо полковника. Никто не видел. «Твердо, твердо», — приказал сам себе полковник, и зеркальце перестало прыгать. И увидел струившееся сквозь слезы золотцем — взглянешь — вспомнишь». На мерцающей мути зеркальца не себя увидал полковник, а сына, в жизни. Увидал все, что помнилось, а помнилось ему все, что было. Все увидал, услышал: от первого лепета из колыбели, до последнего оклика за пылью — «папа... ты не скуча-ай!..» — последнего, слова от живого. И вспомнил — и ошибку, и черную стрелку, наяву и во сне казавшую все одно, — без четверти 7, — так и скончался Павлик, — и сон, прокусивший сердце. Все осветилось в нем, все показалось не случайным, все показалось связанным: какие-то нити протянулись сюда — оттуда. Ушел, не умер, не кончился. Есть между ними Кто-то, Кто указует сердцу,

объемлет все, вяжет живых и мертвых, Собою сливает их, вяжет не здешним, — тем. И укрепился духом:

«В Лоне Его мы свидимся».

Он привел в порядок оставшиеся вещи, запаковал и отослал в «Яблонево», домой. Оставил себе только зеркальце, у сердца спрятал. Оставил письма невесты и карточку, где они были сняты, и выехал в Калугу — решил передать лично. Знал — тяжело это будет, но не мог поступить иначе: так бы распорядился Паша, если бы мог распорядиться.

В день отъезда ему показали сообщение штаба, где он прочитал строчки о сводной роте, славной ее атаке, о выводе из опасного положения Н-ой дивизии, взято девять пулеметов, четыреста пленных. Этой «сводной», — сказали ему — командовал его сын, Бураев Павел, принял ее в бою, был дважды ранен — в плечо и живот, осколком, приказал солдатам нести себя в атаку» не оставил строя до конца боя. Полковник перекрестился. Думал:

Жизнь . . . за других . . . для других. В Лоне Его мы свидимся».

ДУШНЫЙ ДЕНЬ

В Калугу он приехал глубокой ночью, — чуть светало.

На станции, в душном зале, где жарко жужжали мухи, он одиноко курил, пил теплую воду из графина и прохаживался до утра. Выходил на подъезд, смотрел на пустую площадь, на березы, уже сыпавшие журчливым щебетом просыпавшихся чижей, на зеленовато-розовое небо. Спящий трактир напротив, голубеющий на заре, дышал черными пятнами раскрытых окон, с непогашенной в глубине лампой. Полковник широко глотал воздух, но душная ночь пахла сухою пылью и остывавшим камнем. Вдоль желтого палисадника валялись человеческие тела, белея на рассвете онучами и мешками... В тоске, прислушивался полковник, не дребезжит ли извозчик...

Но куда же ехать?.. Рано приехать — неудобно, она еще спит, пожалуй... Тревожить неудобно. Он ее почти знал — по письмам, она была ему нечужая; но беспокоить так рано, чтобы... Конечно, неудобно.

Он обошел дозором и осмотрел весь вокзал, до водонапорной башни, — на вокзале часто бывал Паша, отсюда и на войну вышел, — перечитал все приказы и объявления, и, наконец, дождался: загромыхало у подъ-

езда. Полковник вышел, — но это баба привезла на дрожинах решета с ягодами, — малиной пахло. Потом затрубил рожок, и продвинулся задом черный сипящий паровоз, со сцепщиком наотлете. Потом подошел шумный эшелон, с уже пробудившимися гармоньями и балалайками, с лошадьми. Вокзал проснулся. Молодое офицерство — все больше прапорщики, в новых ремнях и крагах, — щеголевато-отчетливо отдавало честь сумрачному полковнику, с крепом на рукаве тыловой шинели, требовало чаю, «покрепче, и с лимоном!» — и наскоро ело вчерашние пирожки, разрывая их надвое, лихо расставив ноги. Полковник искал между ними похожего на Пашу . . . и не нашел. Проводил грустной лаской шумливый поезд и, наконец, дождался: задребезжал извозчик. Но было только — четверть седьмого.

Он нанял извозчика и приказал ехать . . . — к казармам! Увидал тихую, в утреннем пару, реку, каменные склады на берегу, должно быть давние, облезлые и пустые. Запомнил ржавую вывеску на одном — торговля опытом». Встретил роту, неряшливую, без офицеров, без команды «смирно», — и велел извозчику скорее ехать.

«Непорядки и безобразие! Таких готовят!?»

Давило его подымающейся жарой и кислым воздухом, как в буфете.

«Кадровые ложатся, а тут! . .»

Взглянул любовно на грязные и облезлые казармы, откуда сыпало жестким треском и щелканьем винтовочных затворов, позадержал извозчика . . .

«Вяло, вяло . . . — не то!» — подумал полковник, морщась, не слыша ритма, — души не слышно . . .»

Ударило его острым, знакомым, духом солдатской кухни, карболином с отхожих мест, и ему захотелось войти в казармы. Но вспомнил, что того полка уж нет, прочитал вывеску — белым по синему — Н. . .й запасный батальон», услыхал тонкоголосый выкрик: «с ко-ле-на!» — передернул плечами: «они командовать не умеют?!» — и заторопил ехать: скорей, скорей . . . — Каширская, Затонский переулок! . .

Поехали через весь город, через базар, где было еще душней и жарче и остро воняло селедками и прокислым пивом, — дышать нечем стало полковнику, — но в доме № 8 все окна были еще закрыты, даже розовые герани, казалось, спали. Дом был зашит тесом, покрашен охрой, — унылый, мертвый. Лавчонка на уголке, с двумя золочеными совками на рыжей вывеске, запомнились эти совки полковнику! — еще и не была открыта. Хватая пропавший воздух, полковник тревожно оглянул окна в тюлевых занавесках, — вспомнился ему тюль на Паше и розовые левкои — взглянул на часы — без пяти семь! — рано, неудобно.

— На . . . вокзал!

Перед базаром висело облако золотистой пыли, и в нем рога воловьего гурта.

— Тоже . . . на войну гонят! . . — показал извозчик. — Чистая прорва . . . каждый базар гоним . . .

— А нужно кормить войска?! . . — сердито крикнул полковник.

— Понятно . . . нужно. Да ведь . . .

— Назад! Каширская, Затонский переулок! . .

На углу большой улицы, у раскрытых ворот, топтались четверо в черных казакинах, опоясанные белым

коленкором. Сияла у крыльца бело-глазетовая гробовая крышка.

— Капитан Акимов у нас помер . . . — сказал извозчик. — Отдыхать с войны приехал, три дня отдыхал, пошел на реку купаться . . . солнцем его убило . . . такой-то здоровяк был! . .

Полковник выслушал с интересом.

— Удар?! — даже весело сказал он. — И на войне уцелел, а тут . . . Судьба! И вся наша жизнь — судьба! . . Так, как ты думаешь . . . за дорогое умереть лучьше или . . . костью подавиться? За Россию!! за честь родины! . . А ты про быков! . . А немцы, думаешь, не умирают? глупей они нас с тобой? а французы?! Есть, брат, что-то, за что приходится умирать! И умира-ют! . .

И от волнения задохнулся.

Он приехал все еще рано: лавчонка с совками была закрыта. Позвонил у единственного крыльца, — здесь, должно быть? . . Забрунчала по стенке проволока. Дверь открыла босая заспанная девочка, в лоскутном одеяле хохлом, увидала и взвизгнула:

— Аййй . . . молоко, думала! . .

И метнулась по лестнице, подхватывая одеяло.

Полковник поколебался, — здесь ли? . . — и, осторожно шагая мимо стеклянных банок на ступеньках, стал подниматься за девчонкой. И здесь пахло селедками, застойным духом нагретых солнцем еловых досок и жестяным накалом. Обливаясь потом от жавшего шею воротника и от давно забытой крутой шинели, с тяжелым крепом на рукаве, полковник грузно вошел в узенькую переднюю, где дышать было совсем нечем, передохнул и намекающе покашлял. Из-за двери вы-

ставилась растрепанная девчонкина голова и спросила испугано:

— А вам кого-же? . .

— А . . . барышню . . . — неуверенно сказал полковник, обмахиваясь платком. — Люсю? . .

Он не знал фамилии, не знал полного даже имени: из писем к Паше он знал лишь адрес да подпись — Люся. Людмила? . .

— Погодьте . . . — сказала неуверенно и девчонка.

Он вошел в зальце, с холстинной дорожкой по крашеному полу, с фикусами в углах и геранями за тюлем, у звеневших мухами стекол, с настенными лампами в розовых тюльпанах, с открытым пианино, на котором стояла тарелка черной смородины. На овальном столе, в филейной скатерти, с альбомом голубого плюша и зеленым карасем-пепельницей, валялась шелуха китайских орешков и газетка с присохшими к ней ветками малины. Стопа зачитанной «Нивы» лежала в углу на стуле, под настенной лампой висел портрет круглоголового лысого интенданта с бородавкой под глазом, а с высокого столика зевало раструбом золотисто-пестрое жерло грамофона.

«Не здесь? . .: — твердо подумал полковник, морщась. — «На курсах он была . . . учительница гимназии . . .»

Он вспомнил девчонку в одеяле и подумал, что тут, должно быть, квартира лавочника, что внизу, с совками.

«Сейчас узнаю фамилию, лавочники все знают . . .»

Но взглянул на интенданта с бородавкой, — и ему стало неприятно, до обиды.

Что же . . . вполне возможно!» — подумал он. — Паша мог познакомиться с н е й в офицерском собрании, через отца, интенданта . . . городишка мелкий . . .»

Но сейчас же и подавил в себе неприязненное чувство, представив, как в этой комнатке сидел Паша, в это мутное зеркало смотрелся . . .

«Что ж . . . семья небогатая, выходят в люди . . .»

И ему стало вдруг ясно, как е й будет обидно, больно, что не известили о погребении, и о н а не могла проститься. У него заныло под сердцем, где была пулька, словно он и е г о обидел.

«Спросит, почему не сообщили . . . Ведь это и для н е е — последнее . . . и Смоленск так близко! Как же я так забыл?!»

Он присел у стола и барабанил пальцами. В комнатах пробило печально половину . . . восьмого! — заглянул на руку полковник и стал прислушиваться к звукам: звякало, плескалась вода, переговаривались вполголоса . . .

«Это о н а . . . — умывается, торопится . . . и н и ч е г о не знает . . . а сейчас! . . »

Он вспомнил, как ему подали в «Яблонове» телеграмму из Смоленска.

Ему перехватило дыхание, — и все в комнате потускнело. Усилием воли он согнал мутную сетку с глаз.

«Впрочем должны догадаться, кто . . .»

Протяжно, густо и неприятно откашливался мужчина . . .

«А это тот, с бородавкой, интендант . . . — подумал неприязненно полковник.

Он больше не мог сидеть, — томил его сладковатый застойный воздух неряшливой квартиры, чужой ему и неприятно-случайной в его жизни, для чего-то в нее вплетающейся, — а он любил порядок и чистоту! — и стал брезгливо прохаживаться по зальцу, напрасно отыскивая графин с водой и тревожно соображая, как сейчас скажет. Но не мог собрать мысли. Он выкурил уже четыре папиросы, одну за другой прикуривая и стряхивая на стол пепел. Он стискивал пальцы, чтобы унять охватившую его тревогу, ходил быстрее, но непонятная тревога наростала... Подошел к пианино... Тарелка, казавшаяся с черной смородиной, густо чернела мухами, облепившими розовые пенки от варенья.

«Нет, не здесь!..» — подумал полковник, морщась, и с облегчением, словно разрешил важное, — и вдруг в нем дрогнуло...

Слева, у стенки, на пианино, он увидал своего Пашу, в хрустальной рамке, такой же портрет, — его с нею, — какой он привез с письмами... Он протянул к нему руки и затрясся... Но овладел собой и быстро пошел к столу.

Здесь!..

И комната показалась ему другой: скромной, грустной.

Он услыхал шаги и остался стоя.

Вошла она.

Полковник видел высокую девушку... кажется, — белую кофточку, восковое лицо и, будто, испуг в глазах... Он только глаза и видел, пытающие тревожно. Уже потом, в вагоне, он их припомнил: синие были глаза, горячие.

Полковник церемонно поклонился, назвал себя и был тверд, суховат и краток. Она сторожко остановилась, опираясь на стол концами пальцев и нервно слушала. Пальцы ее дрожали, — видел это полковник, — и им сказал твердо и кратко — все.

— Вот . . . все.

Закончил он деловым тоном рапорта.

— Все? . . — тихо повторила она, во сне, и отняла пальцы.

Он видел, как они поднялись, трепетные и тонкие, тронули белый воротничек, пуговку на груди . . . потом прикрыли глаза. Он видел, как побелело ее лицо, и задрожала прикушенная губка . . . Но она резко смахнула с лица, — и тут полковник его увидел, — чистое, девичье, такое жизненное на карточке и такое каменное — теперь.

Он не сказал ни слова в утешенье. Он видел ясно, что ей не нужно. Да и не было таких слов.

Он вынул письма, обвязанные шнурочком, и фотографию.

— Вот . . . все.

Она взяла письма и все стояла, безмолвная, как во сне. Полковник ждал.

— Благодарю вас . . . — сказала она с усилием. — Он . . . что . . . сказал? . .

— С фронта он без сознания . . . — сказал полковник и вспомнил важное: — Я не знал ничего, и вас не уведомил про . . . зашевелил он пальцами, ища слово, — о погребении. Потом уж нашел письма . . .

Он вдруг замолчал и наклонился к столу: увидал что-то на газете с веточками малины. Вгляделся и несколько раз тяжело ткнул пальцем.

— Во вчерашней... сообщение Штаба... самый тот сводный полк... только накануне принял, в острый момент и... выручил дивизию! — твердо сказал полковник и сжал у сердца.

Она нерешительно взяла газету, смахнула веточки...

— Тот... самый?!.. — выговорила она беззвучно, прижимая к груди газету и молящими глазами спрашивая полковника.

Полковник ждал. И вдруг, схватила она его руку, быстро взглянула ему в глаза, которые он старался спрятать, словно хотела найти в них что-то ей очень нужное, — и несколько раз, в страстном порыве, поцеловала руку. Он вздрогнул от неожиданности, и осторожно, растерянный и смущенный, потянул от нее руку. В нем вспыхнуло острой болью и поднялось все. Но он и тут совладал с собой. По задрожавшим глазам и губам ее он видел, что последние у ней силы и надо сейчас уйти.

Он взял карточку со стола, ту, что привез с собой.

— Дайте мне... это!.. — умоляюще сказал он.

Она кивнула с усилием, пошла к пианино, взяла и подала ему — в рамке.

Он сунул в карман и быстро вышел. В передней — показалось ему — высунулось встревоженное лицо старика в халате. Когда спускался полковник с лестницы, боясь задеть за банки с яйцами и блюдо красного киселя на ступеньках, — это осталось в памяти, — он услы-

хал вскрик за дверью. Он выбежал из парадного, вскочил в пролетку и крикнул, торопя в спину:

— Скорей... на вокзал!..

С пролетки он оглянул окна, герани, совки на вывеске... Утро начинало палить жарой. Жгло от домов, с песков, с вывесок, душило от раскрытых окон, от мутной дали. Парило с речной глади, кололо-слепило солнцем. Невыразимой тоской тянуло от незнакомого городка.

Но еще до часу пришлось сидеть в жарком пустом буфете, не зная, куда деваться, где найти воздуху. Полковник пил содовую воду, пил из желтых графинов, из зеленой кадки на перроне. Человек подал счет. Полковник спросил рассеяно:

— За папиросы?..

— Чего изволили требовать... и еще двум солдатам обед велели да мальчишкам давеча по яйцу приказали выдать...

Вскрик все стоял в голове, а отъехали уже далеко от Калуги. Полковник глядел в откосы, на березы. Отвернул ворот, открыл сорочку, хватал губами ускользавший воздух.

«Так и не узнал имени...» — растерянно вспоминал он, силясь представить ее лицо. — «А как же фамилия-то ее?.. Ну, все равно теперь... А могло бы... и — не сталось...»

И острой болью схватило сердце.

Что могло статься — растаяло, как уплывавший в березах пар.

ГРОЗА

Похоронив сына, старый полковник воротился к своим садам.

На сады червь напал, затягивали сады липкой паутиной, пахло зеленым тленом. Томил полковника этот могильный запах, надо с червем бороться, а не поднимались руки. Молодой полковник днями сидел в качалке, курил и глядел на небо. И вдруг — срывался и ковырял вразвалку на костылях, опустив голову, словно искал на земле чего-то- — подсохший, почерневший. Приглядывался к нему полковник, ходил растерянный, — не знал, куда деть себя. И лето мучило сушью и духотой, — воздуху не хватало.

А тут еще прикатил из Рожновки Куманьков, трактирщик, — в такое-то время и с пустяками. Увидал полковник мучной пиджак да словно охрой натертую бороду — заморщился:

— Несет чорта! Опять, должно быть, насчет садов, «по случаю семейного расстройства», рыщет . . .

Отжимая затылок и стряхивая с пальцев, Куманьков вскочил на терасу, — и крепко запахло луком.

— Ваше превосходительство, дозволите-с? Взопрел, ваше превосходительство . . . извините-с . . . руку-то уж не смею-с, смок-с . . .

И только присел на указанную плетенку, приметил в конце терасы молодого полковника в качалке. Вско-

чил — и заколебался: не потревожишь ли? Подбежал радостно, и в обе руки, как благословение, принял и придержал руку.

— Степан Александрыч?!.. Герои!.. Такими еще помню... и уж полковники!.. От Господа зачтется... недосягаемо-с!..

— Да уж зачло-с... — поерзал полковник костылями, и лицо его стало жестким. — За вами теперь, к зачету. Совсем еще молодчина, воевать-то!

—Шшу-тить изволите... молодчина! — оглянул себя Куманьков. — Сорок три годика и семь месяцев, за все пределы вышел-с! На печи с бабой воевать разве-с, да и то... хе-хе-хе... и это баловство кончил-с, по случаю всеобщего сострадания! Грыжа-с внутренняя... и у сына грыжа, во все это место, от напружения... сызмальства испорчены, работой-с...

— В две недели всякую грыжу вылечим! А взял бы я вас, господин Куманьков, в ординарцы, за расторопность! Троих у меня убило. Призовут — пишите, возьму.

— Ку-да теперь вам-с, Степан Александрыч... без ножки-с, при инструментиках-то! Слава Богу, навоевались-с... А то бы мы с удовольствием. Только, конечно, теперь уже недосягаемо!..

— В чем дело? — спросил строго старый полковник. — Сады?

— До садов ли! Вступитесь, ваше превосходительство... последний корень!.. В лазареты муку ставлю, счета вот, можете поглядеть... по своей цене-с... Запасному батальону посылаем пуд макаронов, полпуда

махорки, семечков-с... в дар-с! Извольте накладные обсмотреть...

— Ничего не понимаю!..

— Дозвольте сказать, ваше превосходительство... на проводы гироев по волости... ситного пять пудов, окромя проводов с музыкой... чаем поил-с, собственноручно... Трех лошадок под антилерию забрали... упор для хозяйства, — но!.. Очень патриатизм у всех ужасный... и три племянника в огне неустанно, но!..

— Чего тебе от меня?..

— Леньку берут-с!.. Ваше превосходиптельство! единственно последний корень... грыжа по всему брюху... Ванюшку чего считать, шишнадцати годков. В этом самом месте, самая сурьезная... белый билет в двенадцатом годе, в ноябре месяце, за всеми подписями, — и отменено! К чему тогда закон?! И ведь в строй, ваше превосходительство... в самый бой-с!!..

— Ха-ха-ха... — раскатился молодой полковник. — В самый Бой? Быть может!.. ха-ха-ха...

Куманьков покосился — чему смеется?!

— Да ведь... убьют-с! Ваше превосходительство!..

— Чего тебе от меня нужно? — крикнул полковник.

— Закону, ваше превосходительство, всегда по закону... ваше одно слово, очень почерк-с... из грыжи-с... и в писари при управлении бы... четыре пуда макаронов.... извольте посмотреть...

— К к о м у ты пришел?!..

— На жалость вашу рассчитываю... у самих горе... сынка потеряли... гироя...

Полковник смотрел брезгливо... Куманьков растерянно смахивал с носа капли и вытирал палец о коленку.

— Ко мне... с такими!.. Ступай!.. — бешено закричал полковник и вскочил с кресла.

— Ваше превосходительство... Да ведь... грыжа-с, законная!..

— Господин Куманьков, — спокойно сказал молодой полковник, — могу оказать протекцию! Ко мне — вестовым! Вот скоро еду... помните.

Полковник пристально посмотрел на сына.

— А «Серого» твоего таки не забрали? — спросил он, чтобы переменить разговор.

— А за что его забирать, раз он заводской производитель?! Нельзя ничего до корня, закон!

— До корней доходит.

Куманьков встряхнулся.

— Тогда... все ниспровергнуто?! дером дери и... вчистую чтобы, до пепла?! — хлопнул он о коленку и твердо надел картуз. — Кишки выматывать, значит?!..

— Сту-пай... — едва вымолвил полковник, задыхаясь.

Куманьков выкатился с терасы не понимая, с чего это рассердился полковник, перебежал рысцой к дрожкам, щелкнул возжами и, насутулясь, пустил жеребца под изволок. Полковник рванул у ворота и оторвал до борта.

— Степан... ты это серьезно... уезжаешь?..

— Дай-ка папироску, папа... Опять сердце?..

— Сердце... — хрипло сказал полковник, потирая сердце.

Вечером собралась гроза, первая в это лето. В сумерках, до дождя, когда с запада на усадьбу двигался черный живой заслон, с растрепанной бородой огнистой,

выпала из заслона, белого блеска ломаная стрела и ударила — видели с терасы — в одинокую сосну, к речке, не раз побивавшуюся грозой. И ослепительно грохнуло и с земли, и с неба.

— Свят, свят, свят... — перекрестился полковник.

— Двена-дцати-дюймовый!.. — сказал молодой. А лихо врезало!

Верхушка сосны пылала живой свечой.

И с края заслона, в лесу, выпало голубой стрелой, и покатило сухим подтреском.

— Па-чки-и!.. — выкрикнул молодой полковник.

На сад упало из «бороды», — над садом была она, в стеклянную дверь терасы трескучим дребезгом, — и полил, и полил ливень. Стало совсем темно.

— Ффуу... хорошо... — вздохнул широко полковник. — Червя посмоет... Вот это — дождь!.. Дышать можно...

За шумом ливня не было слышно слов.

И то ли от грозы было, разрешившейся жданным ливнем, или накопившееся за дни прорвало Господним громом, или что поднялось, и дошло до края: полковник слабо сказал — а...а... — и глухие рыдания смешались с шумом ночного ливня.

Молодой полковник рванул костыли, вывернулся с качалки и быстро заковылял к отцу.

— Па-па!..

У него пересекся голос.

Гроза ушла, а ливень лил с перерывами до утра. Утром шел тихий и спокойный дождик, —обмывался молодой месяц.

КНЯГИНЯ

На Казанскую, 8 июля, — девятый день по Павлу, — оба полковника поехали к обедне. Старый полковник надел китель, — сам, помаргивая, нашил креп, — и привесил колодку с орденами и белый крестик на золоте — «за Карс» и за последнюю пулю, что и доныне жила под сердцем и ныла к непогоде. И хоть был день сухой и жаркий, а понывала пулька. Белоснежный китель и ордена, и подчерненные чуть усы и брови — подмолодили его и подтянули, и молодой полковник залюбовался даже: совсем еще молодцом папан! Правда: молодцом был еще полковник. Ястребиное пробегало в его глазах, выпуклых чуть, по-птичьи, и в строгих бровях с заломом. На Александра II похож был он — высоким хохлом и взглядом, в холодке синеватой стали.

Повез их Алешка в новой пролетке, купленной перед самой войною. Раз всего ездил на ней полковник в «Зараменье», по почетному вызову княгини — подписаться под завещанием. Но в каретнике бывал часто, поглядывал, как дремала горбатая пролетка под парусиной, — только отлакированные спицы да вздернутые оглобли видно, — и ему казалось, что пролетка все ждет кого-то. И теперь, садясь на мягко качнувшуюся под ним, подумал: «К чему же теперь пролетка! . .» По-

глядел на сына с костылями... — «а вот и пригодилась...»

— С Богом!.. — сказал полковник, отмахивая мысли, и увидал впереди скамейку...

— Теперь ненужна скамейка...»

Когда покупал в Москве, выбирал со скамеечкой пошире, — были у него виды на скамейку. Выбирал с пуговками и «щечками», на тугом волосе. Мечтал, как поедут в Троицын День к обедне, годиков через пять ли, шесть... красавицы-невестки, с цветами, под кружевными зонтиками... беленькие воздушные девчушки-голоручки, голоногие мальчугашки в матросочках... молодцы-сыновья верхами, а сам он в шарабане... И вот — «по Павлу девятый день...»

Поглядел на Степу, на желтые костыли, — мертвые чьи-то ноги, — на сильный, бронзовый его профиль, широкие плечи в кофейном френче, на белый у него крестик «за германскую батарею», за пробитую грудь, оторванную ступню... — «ничего не поделаешь, война!»

Вертелась в хлебах дорога, пылила облачками. Рожь уже подсыхала и белела, повыше — зажинали. Пахло ржаными межами, хлебенным васильковым духом, нагревшейся пролеткой, новой Алешкиной рубахой. Овода налетали пульками.

— А приятная у тебя, папан, пролетка... — сказал молодой полковник.

— Вот и катайся. К княгине съезди, возобновишь знакомство. Старуха о тебе спрашивала. И молодая, кажется, еще тут. Муж, действительно убит, не в плену.

— Да, в феврале официально было. Погиб у Мазурских озер, в разведке, там и похоронили.

— Старуха спрашивала про тебя, расскажешь. Кто-то из ее при штабе вашей армии? .. Трое у ней убито? ..

— Двое кавалергардов, внук-гусар, и ... муж Клэ, у Ренненкампфа был, погиб в разведке ... — Четверо. Так Клэ здесь? Видал ее?

— Видел еще в начале мая ... ездил по завещанию.

— Очень убита? .. Что-то у них неладно было, с князем? Кем-то увлекся ротмистр? ..

— Да, разезжались, с год ... Перед самой войной опять сошлись. Хочет отдохнуть, а потом в Царское думает, к Государыне в лазарет. Съездил бы. Почему — неловко? Какие-то детские глупости, забыли давно.

— Чуть-чуть не обвенчались ... — усмехнулся мечтательно полковник. — Помнишь, прискакала она на рыжем, стояла в яблоньках, хлыстиком все играла? Ты тогда помешал нам ...

— Обвенча-лись ... Что ей, пятнадцать было? ..

— Около. Мне — восемнадцать. Сколько же ... шестнадцать лет прошло. А совсем недавно ... Решили скакать в Калугу, имение у них там ... а по дороге обвенчаться, серьезно! Помнишь, пятьдесят рублей у тебя просил. Была у меня десятка и часики, у ней — кораллы и тоненькая браслетка ...

— Здорово. Ну, кто бы вас стал венчать ... младенцев! ..

— Об этом совсем не думали, как это там выйдет. Сказала — уедем, кто-нибудь обвенчает! ..

— Здорово. Я тогда пажа этого, братца ее ... Петушился, помню: «раз юнкер не может дать мне немед-

ленного удовлетворения за оскорбление чести моей сестры, я вызываю вас, господин полковник!» Послал я его к чорту: «как мой Степанка поправится, с удовольствием проткнет вас, как картинку!» А ты-то тоже хорош... стреляться, да еще из турецкого пистолета!..

— Ничего я тогда не помнил. И два только раза и поцеловались с Клэ... На балу у них, после мазурки, в парке... вдруг обнял ее и поцеловал!.. и убежал!.. Потом она подослала мальчишку... как Татьяна у Пушкина... назначила свиданье в оранжерее. Сорвала персик... — чудесный персик!.. и шепнула: «вы смелый?.. увезите меня, и мы...» — и вдруг, поцеловала!.. И тут мы решили обвенчаться... — усмехнулся мечтательно полковник, выстукивая костыльком. — Удивительно пылкая была головка...

— Так и не встречались после?

— В Большом театре как-то... перед войной. Узнала меня... не кивнула даже. С мужем ее познакомился на маневрах. Улыбнулся, помню, спросил: «вы, кажется, соседи с «Зараменьем»? Должно быть, она ему все сказала. Прекрасный был офицер.

Проехали Птичьи Дворики, утонувшую в ветлах деревушку. Молодой полковник вспомнил красотку Ниду, в которую был влюблен когда-то, бойкую, востроглазую... и маленькие ее ножки, — все любовался ими!.. Красивый народ был в этой деревушке. Красавцы были и отец Ниды, и брат — гвардеец: «Зараменской» крови, были из Птичьих Двориков. Вспомнив Ниду, — где-то она теперь! — полковник почувствовал возбуждение. Хорошо бы в Москву, проветриться! А старый о

Павле думал: «Здесь бы похоронить, а не в Смоленске... но там родовое наше...»

Проехали Птичьи Дворики, выбрались на бугор. Стало видно белую колокольню «Рамени». Вправо, на высоте, развертывалось «Зараменье», княжеское имение: белели колонны в парке, сверкали оранжереи, те самые, где когда-то манили персики. Молодой полковник вспомнил, как милый сон, легкую, тоненькую Клэ, воздушную в розовом газе, в черневших локонах на матово-смуглых щечках... острые локотки, полудетские худенькие ручки, обвивавшие неумело его шею... нетерпеливо-капризно кривившуюся губку... Вспомнил ее глаза, удивительные глаза, за которые называли ее мужчины «сухим шампанским», — необычайные, менявшиеся внезапно, как топазы: то вспыхивали игристо, золотистыми искрами, то равнодушно гасли. Какая она теперь?..

Вспомнил фойэ театра... В темно-зеленом бархатном платье, с великолепным трэном, по которому брызнуло серебром, далекая от всех на все свысока взиравшая, стройная, томная, величаво-холодная, в серебристой повязке из изумрудов, с дивными обнаженными руками, — выступала она княгиней. Он изумился, замер. Встретился с ней глазами. Не видя, прошла она. Он, кажется, поклонился, почтительно?.. Парные часовые у царской ложи отдали ему честь, выбросив от себя винтовки... и он почтительно поклонился ей?.. И радостно подумал: это *ей* честь! Она не ответила, прошла. Его кольнуло в сердце. Она же его узнала!.. Он видел это — по золотистому блеску глаз, *что-то* ему сказало!.. Он же из-за *нее* стрелялся... — и

не ответила на поклон! Он остался один в фойэ, с неподвижными гренадерами в парадных шапках, с бархатными диванчиками, в золотистом блеске хрустальных люстр, где сияли е е глаза, с высокими зеркалами стен. Видел себя совсюду, — стройного капитана, в шарфе, с отогнутой перчаткой... всматривался в себя... Находили его красивым. Его глазами — восхищались. Его еще юнкером прозвали «синеокий миф». Сколько женщин писали ему признанья... — а о н а даже не взглянула!.. Он бродил по фойэ, мучаясь и волнуясь, ждал. В антракте она не появилась. Он прошел к ложам бенуара, дал капельдинеру пятерку. «Их сиятельство княгиня Куратова... литера А... после третьего акта изволили отбыть».

Полковник посмотрел на далекие белые колонны. Четыре года, после т о г о, о н а в Швейцарии провела. Он был уже офицером, она — невестой. Встретил ее в Зараменье», в золотистый сентябрский вечер. Она скакала по большаку, в березах, с красивым офицером. Слышал счастливый смех. Потом — она вышла замуж. Больше он не видал ее, до театральной встречи. И вот, судьба: калека, на костылях... о н а — свободна, и оба — з д е с ь!.. Насмешка.

Повстречалась на перекрестке пустая княгинина коляска, тройкой серых. Почтенный старичек-кучер раскланялся:

— Ва-ше превосходительство!.. здоровьице ваше как? Здравствуйте, Степан Александрыч... — узнал он молодого полковника. — Поправились, слава Богу. Да какие же вы красавцы стали!..

Полковник остановил Алешку и справился, в церкви ли старая княгиня.

— А как же-с, праздник у нас. За княгинюшкой ворочаюсь, еще неготовы были с бабушкой ехать...

Молодой полковник нервно оправил крестик.

— А как война-то у нас, Степан Александрыч? Ну, дай Бог. Эх, Гурку бы нам теперь со Скобелевым... Го-оре, ей Богу... молодцы такие — и на костылях!

Кучер был из солдат, — почетный, княжеский. Устроил его сюда полковник, как приехал сады садить.

На выгоне стояла карусель, палатки с ярморочным товарцем, телеги косников и серпников, лари с картинками... Пахло оладьями и пирогами с луком Сияли гармоники, яркие платки и ситцы, опояски и кушаки; под кумачевым подзором висели сапоги и полсапожки, с лаковыми подметками, словно повыше где-то сидели невидимые мужики и бабы, свесив ноги. Народу было жидко, — мальчишки больше, свиставшие в глиняные свистульки, в оловяные петушки. Подростки, — в синих рубахах с желтыми опоясками, пробовали гармоньи, в кучках. За оградой церкви сбились телеги с распряженными лошадками, с ворохами лесной травы. В ограде сидели молодухи, завернув юбки и раскинув ноги в ушастых полсапожках, в цветных шерстяных чулках, давали младенцам грудь, — поджидали, когда причащать кликнут. Девки щелкали семячки. Над кучкой степенных мужиков покачивался солдат, с залепленным черной заплаткой глазом. Когда полковники вылезали, он лихо крикнул:

— Смирнаааа... рравнение направаааа!..

— Молодец, Скворец! — сказал старый полковник, признав солдата из Птичьих Двориков. — Рано только ты больно, обедня еще идет.

— Так точно, ра-на . . . ваше превосходительство, а то бы ни в одном глазе! — ломался солдат перед народом. — Степан Александрыч! как же нам теперь с вами жениться-то? Девок сила, а . . . не хотят кривого, а то хоромого . . . Давай, говорят, прямого! . .

Мужики и молодухи хохотали. Одна, чернобровенькая, румяная, в васильковом платье, помнившая молодого полковника, как трясли вместе яблоки, пожеманилась шеей и плечами:

— За хорошеньким да афицериком любая побежит!

Полковника задержал старик Копытыч, набивался в караульщики по садам. Молодой распрашивал солдата. Они были погодки, играли вместе. Солдат-гвардеец напоминал тонкими чертами Ниду, — и быстрые карие глаза те же!

— А что сестренка?

— Э, теперь Степанидку и не узнаете, то в белошвейках была, а нонче в хору поет, ахтер голос у ней признал! Семь комнатов квартира, на Садовой, за Сухаревкой, в семнадцатом номере, на пятом этажу . . . машина подымает! И цветы, и партреты ее по всей квартире. Две тыщи мне обещается, кожами вот хочу заняться. Фабрикант один кожаный в женихи набивается. В ванной у нее купался и всякие вина-ликеры пил. По-мню, как вы за ней гоняли . . . я ей раз, вот, ей-Богу, косы за вас надрал! . . Вот рада-то вам будет, что земляки . . . — болтал и болтал Скворец. — Проведайте, обязательно. Ей теперь наплевать, без страху . . . и ка-

кавой угостит! Спрашивала об вас... Для такого героя она... Сам ей письмо пошлю, как в газетах про вас известно... Поезжайте, не сумлевайтесь!..

Полковник вспомнил красавицу-блондинку, встречу в Москве, письмецо ее — «а будет грустно — приезжайте, Степочка... размыкаем.» Так и не повидались после. Подумал: «поехать в Москву, проветриться!..»

— Солдаток к нам сторожить приехал, чтобы не бастовали... — смеялись мужики солдату.

— Чего мне солдаток... свою фабрику завожу!

Вертелся лавочник Куманьков, расталкивал:

— Пускайте!.. его превосходительство с раненым гироем! Вот народ недостижимый какой... Пу-скайте!.. Ленька? Ленька мой, ваше превосходительство, слава Богу... покелева с палками гоняют-учуть... возлагаю на Господа да на ваше слово... при себе запишите, как поедете воевать... как зеницу ока, недосягаемо! Под крылосик, ваше превосходительство, к окошечку-с... очень духоты напущено, кислоты-с... Там и их сиятельство-с изволит молиться за нас грешных... для параду к им-с...

Воняя луком и миндальным мылом, Куманьков расталкивал стариков и баб. Красные волосы его взмокли и растрепались, но он старался. Бабы жалели молодого на костылях и шептались: «Воители-то наши... молоденький какой, а хрестов-то навоевал!..» Старухи шамкали: «Сюды, родимый... к стеночке-то пристань, ловчее тебе будет, с палочками-то...» Шептали — слышал старый полковник — и про убитого его Пашу. Кругом вздыхали. У каждого было с в о е, болевшее. Он почувствовал, как жжет у него в глазах. Смаргивая

слезу, он оглядывал небогатый храм, родную ему толпу, с которой его связала общая скорбь и горе. Давно связало, — через Бурая-пращура, помилованного Петром стрельца... раньше! Белый крестик, выбоина в бедре, шрам на шее, ноющая под сердцем пулька, могила сына в Смоленске... — все через эту связь, ради чего-то, к чему движется общая с этим жизнь его. Дано — и не раздумывай, принимай.

Он всегда просто думал. И эти чувствуют также просто: надо и принимай.

Они прошли к клиросу налево.

У открытого окна в решетке, за которыми видны чугунные плиты Зараменских, стояла прямая, высокая старуха, с изжелта-восковым лицом, в черном шелковом платье и в кружевной наколке. Молодой полковник узнал ее: все та же, как и тогда, когда кадетиком подходил к руке, а она без улыбки говорила, трепя по щечке: «Глаза-то... аквамаринчики!»

Священник поминал в алтаре болярина, — воина Михаила... — «о нем это...» — подумал молодой полковник о ротмистре, ее муже, — болярина, воина Константина, Игоря... Старуха опустилась на колени. «Это о ее внуках молятся...» — подумал полковник, — новопреставленного болярина, воина Павла...» Старый полковник тяжело опустился на колени. «О Паше...» — подумал молодой полковник и начал рассеянно креститься. «...за Веру, Царя и Отечество на брани живот свой положивших...» Потом — рабов Божиих, воинов, воинов, воинов... Церковь томительно вздыхала.

Перед «Иже Херувимы» в толпе зашевелились. Пробежал озабоченный Куманьков, шипел:

— Ее сиятельство! .. Ослобоните проход, недосягаемо! За платьице-то лапищами не щупайте ... ду-ры! ..

Пятясь и пригибаясь, он выбрался к простору, пошел накорточках и похлопал рукой по коврику:

— Соизвольте сюды, ваше сиятельство ... на мякенькое ступаните-с ... — вышептывал он, словно подманивал.

Старуха повела наколкой. Он поклонился ее спине.

Шла княгиня в черном, в серебристо-прозрачной шали, свесившейся углом с левой ее руки в перчатке, в белой широкой шляпе, с черным страусовым пером. Замкнутая спокойная, строго-изящная, «н е о т р а з и м а я», — с первого взгляда понял растерявшийся вдруг полковник. Ударило ему остро в ноги, до жгучей боли — в отрезанную ступню. Он увидел незабываемое лицо, в изумительно тонких линиях, — непроницаемое лицо, матово-белое, как тончайший, сквозной фарфор. Увидал милую родинку на шее, бывшую и т о г д а ... всегда ... изумительного изгиба шею — прелестный, волнующий сердце стебель живого неведомого цветка, возносивший чудесную головку ... локоны, чуть приметные, чуть прикрывающие ушки ... жемчужные сережки, трепетные у шеи, покойный, холодный профиль ... розовый, нежный рот, который он целовал когда-то, уже не детский, в тонком, неизъяснимо-томном изгибе грусти, недоумения, вопроса ... Он любовался в очаровании стройной ее фигурой, угадывая плечи, локти, изгибы кисти, — ласкал глазами, не сознавая — где он? .. Острым, тревожным взглядом уловил он под шляпой

поразившие его когда-то, еще в детстве — удержанный памятью удивительный разрез ее глаз, — нежащий, томный и угрожающий, от которого шло лучами. Уловил все очарование ее движений, устало-томных, сдержанно-скромных, полных укрытой ласки, скрытого в ней... ч е г о - т о, что называется... женственным... — что встречается редко-редко, что ведет за собой неотразимо.

Он уже ничего не слышал, прислонился к стене, взирал. Она потянула утомленно серебристо-сквозную шаль, опустила ее с плеча, и шаль заструилась к талии. Он увидал теперь всю прелестную ее шею, сияющую над чернотой корсажа. Справа, из купола, влился луч, искрой зажег жемчужину, розовым тронул ушко, скользнул на шею, по серебристой шали, — осиял всю ее, траурно-жемчужную, — выбрал одну из всех.

Он взирал на нее, благоговея, смутный.

«Клэ... необычайная... прелестная... Клэ!..» — радостный и подавленный, мысленно шептал он. — «Ты была где-то... Клэ...»

И вдруг — уронил костыль. Его оглушило громом. На одной ноге, другая, в пустом сапоге, туго набитом тряпками — едва прикасаясь к полу, полковник быстро нагнулся за костылем, в смятеньи. Едва уловимый миг — княгиня повела шеей. И в этот, едва уловимый, миг поймал полковник блеснувший, золотисто-игривый взгляд, блеск «сухого шампанского» — топаза, который он помнил сердцем, — незабываемый. Этот миг-взгляд сладко поранил сердце, самую глубину его... — вызвал восторг и боль.

«Княгиня! . .» — отозвалось в нем с силой. Он почувствовал, как он связан, и как несчастен, и как безумно счастлив . . . как никогда еще не был счастлив . . . что счастья он и не знал еще, что получил в этом взгляде что-то, безмерное, что теперь он безмерно сильный, и жизнь еще будет, будет . . . и он принимает все, какие бы ни были страданья!

«Клэ . . . чудная Клэ . . . Княгиня! . .» — говорил он взглядом ее сережкам, склоненной ее головке, бледной ее щеке.

Его охватило страхом. Хотелось уйти — не смел. Стыдился себя, такого, с этими палками, на пустой ноге. Увидал белый крестик, вспомнил, что у него удивительные глаза, «как ночное небо», — так ему говорили женщины, — что она тоже женщина, целовала его когда-то, и он называл ее просто — Клэ . . . что она свободна, теперь война, люди — пустая пыль, что нет теперь ничего, чего бы нельзя было, что нужно же так случиться . . .

Не понимая, что ему говорит полковник, — а полковник шептал о панихиде, — он смотрел в восхищении, как чудесно играет ее шея, как склоняется милая ее головка.

После креста, полковник представил старой княгине сына.

— Слыхала, что герой . . . теперь и вижу . . . — покивала она на крестик. — Отвоевались, мой друг? . .

— Пока . . . ступня отвоевалась, ваше сиятельство! . . — почтительно-официально скаазл молодой полковник; чувствуя, как смутился, как грубовато вышло.

— Ступня... вот хорошо сказал! — кивнула приветливо старуха. — Заезжайте... Расскажите мне, как у вас там...

Он поклонился молча. Перед молодой княгиней он весь склонился. Она покивала, молча. Но он уловил — скользнувшую золотую искру?.. Нет, показалось это...

Она пошла, перетягивая устало шаль, — замкнутая в себе, холодная. Не слыша, что говорил полковник, он быстро пошел с толпою, путаясь костылями в юбках. На паперти он остановился. Куманьков вертелся у коляски, лакей отгонял его. Она смотрела над провожавшей ее толпой молодых баб и девушек... — и молодой полковник — может быть показалось это?.. — поймал ее взгляд, скользнувший. Серая тройка катила к выгону.

По дороге домой, старый полковник спросил, когда же он думает к княгине?

— Не знаю... в Москву мне надо...

Таким — ему не хотелось ехать, а «ступню» обещали через неделю только. Вспомнился адрес Ниды: за Сухаревкой, Садовая 17.

«А она... даже не подала руки...» — подумал он грустно.

— Протез поставлю, а то... с этими палками... связанность, и...

— Понятно, посвободней... — сказал полковник. — А, какова стала Клэ!..

Да, интересна... — отозвался рассеянно полковник, глядевший в небо.

День был необычайно яркий: блестели хлеба на солнце, сияли дали. В спелых волнах хлебов, в поды-

мавшейся облачками пыли, в налетавших пульками оводах, в заблестевшей воде меж ветел, в спутанных далью мыслях... — золотисто сверкали искры.

— А хорошо, папан!.. — сказал неожиданно полковник. — Удивительный день сегодня!..

— Да, припекает... Пожалуй, грозу нагонит.

«Милая... чудная... Клэ! — вызывал полковник желанный образ, прикрыв глаза. Укачивала его пролетка...

Той же ночью выехал он в Москву, написав рапорты — о назначении на комиссию, о признании годным к строю, о назначении в боевую часть.

Высунувшись в окно вагона, в гулкую мглу лесов, он восторженно повторял: «княгиня... княгиня... Клэ...» На заворотах летели искры. Колеса выстукивали четко: княгиня... княгиня... Клэ!.. Он повторял за ними, глядел в темноту и думал:

«Зачем я ее увидел!.. Теперь... как же?.. Или — не возвращаться больше?.. Княгиня... княгиня... Клэ...»

Отбросил костыль и сел.

«Заеду, прощусь... только... без э т о г о — посмотрел он на ненавистный костыль. — Зачем я ее увидел?!..»

Высунулся опять, на искры. Следил, — и слушал, как гремело в ночном лесу.

Ив. Шмелев.

Сентябрь 1927 г.
Ланды.

Ю. А. Кутырина.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

(Краткий очерк жизни и творческий путь) *

Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза... эти глаза владеют всем лицом... наклонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо, изборожденное глубокими складками-впадинами, от созерцания и сострадания, от скорби о родине, о мире... лицо русское — лицо из прошлых веков. Таков портрет писателя в последние годы его жизни.

Иван Сергеевич Шмелев родился 21 сентября 1873 года в Москве, в Замоскворечье в Кадашевской слободе. По словам самого писателя, он родился слабым, хилым ребенком с водянкой головы, лежал под иконой, думали не выживет.

Предки Ивана Сергеевича с отцовской стороны происходили из крестьянского сословия. Но уже его прадед становится после 1812 года продавцом деревянной посуды. Дедушка же И. С. Шмелева, старообрядец из крестьян родом из Гуслиц, Богородского округа, Московской губернии, обосновался окончательно в Москве, где он успешно работал в качестве торговца и подрядчика. Также и с материнской стороны, предки Шмелева

---

* Использованы работы К. Д. Бальмонта, М. Ашенбреннера (перевод О. Шерман), Ю. А. Кутыриной, проф. Н. К. Кульмана, произведения И. С. Шмелева «Из моей жизни», «Родное», «Лето Господне», «Богомолье».

принадлежали к крестьянскому сословию. Говорят, что многие из них были старообрядцами и выделились еще во времена Царевны Софии, как убежденные и фанатические борцы за свою веру, выступавшие в «прях».

Семейная жизнь в родительском доме Ивана Сергеевича Шмелева направлялась религиозными традициями. Эта жизнь была глубока по своему внутреннему содержанию, здоровая в моральном отношении, основательная и крепкая. Национальные и религиозные обычаи и обряды почитались в семье. В семье царил патриархальный быт.

В своих произведениях «Лето Господне» и «Богомолье» Иван Сергеевич Шмелев изображает жизнь в его родительском доме и царившее там миропонимание. Конечно, эти воспоминания детства Шмелева нельзя рассматривать как чисто биографический материал. Все же большая часть этих произведений знакомит нас с жизнью и бытом в доме Шмелевых, показывает также и людей, которые находились в окружении мальчика; главным образом отца автора, простого, мягкого, доброго человека, постоянно занятого делами, богомольного старика Горкина, бывшего столяра ставшего духовным наставником маленького Шмелева, доверенного Василия Васильевича Косого и рабочего люда.

Шмелевы были строительными подрядчиками. Они держали также купальни, лодки и плоты на реке Москве, устраивали праздненства на Иордань, строили балаганы, устраивали иллюминацию города во время празднеств; поэтому во дворе родителей Шмелева царило постоянно движение и оживление. Рабочие и ремесленники приходили в Москву со всех концов Рос-

сии и некоторые из них нанимались на работу у отца Шмелева, где можно было найти представителей всех ремесл. Большинство служащих и рабочих были честные люди, вышедшие из здорового крестьянства не подпавшего еще разлагающему влиянию городской жизни.

Те, которые служили, считались членами семьи. Многие из них работали в течение долгих лет в предприятии отца Шмелева и потому были тесно связаны с его семьей. Вот с этими людьми Шмелев-писатель — будучи мальчиком, был постоянно вместе. Они баловали его. Они были его друзья и сверстники и по игре. Они брали его на руки, когда он был маленьким, так что он позднее «запомнил запах их одежды и цвет их бород . . .» Во дворе своего отца Шмелев познал душу своего народа, потому что люди, работавшие там, принадлежали к различным типам русского народа с их обычаями, со всем богатством речи, сказками, песнями и пословицами, которые писатель так хорошо умел воспроизвести позднее в своих произведениях. Все эти люди были учителями писателя.

Мать Шмелева была купеческой дочерью. В ее семье было много своеобразных людей. Бальмонт полагает, что многое в искусстве Ивана Сергеевича, привлекающем нас своим особым колоритом, надо считать наследием его предков.

Между четвертым и пятым годами Шмелев научился читать. Мать его институтка (она окончила Московский Чернявский институт, который принимал детей купеческого сословия) по воспитанию, научила его буквам; он и сам учился читать, отыскивая уже знакомые ему буквы в газетах и на афишах. Люди, работавшие

во дворе, были большею частью безграмотные; грамотные же среди них читали простые народные истории, Библию, легенды святых и давали свои книги ребенку. В семье Шмелевых не было обычая дарить детские книги. Поэтому Шмелев читал сборники пословиц, загадок, народных песен, стихотворения Пушкина и басни Крылова.

Когда Шмелеву исполнилось семь лет (1880 г.) умер его отец. В 1884 году мальчик поступил в Московскую 6-ю Гимназию.

В своем автобиографическом эскизе «Как я стал писателем» (сборник «Родное») Шмелев рассказывает, что он написал в третьем классе стихотворение, в котором он изображает путешествие своих учителей на луну на воздушном шаре сделанном из брюк преподавателя латинского языка. Результатом этого стихотворения было то, что молодой поэт был наказан. — Мальчик много читал, между прочим, русскую историю, и произведения Жюль Верна, Майн Рида, Гоголя, Тургенева, Мельникова-Печерского. В пятом классе гимназии его интерес к литературе стал еще значительнее. Теперь он стал читать главным образом Тургенева, Толстого, Глеба Успенского, Короленко, Смайльса, Бекля, Спенсера. Многое в этих произведениях, особенно философских, он, конечно, еще не мог понимать, все же кое-что осталось в душе мальчика. В это время у него была потребность выражаться философски. Об этом можно, например, судить по сочинению о котором Шмелев говорит в своем рассказе «Как я стал писателем». Темой сочинения было «Описание Храма Христа Спасителя». В нем Шмелев ссылался на Надсона и Смайльса даже

в тех местах, где это к теме не относилось, и при этом писал слова «Смайльс» и «философ» неправильно. Сочинение не удалось. — Будучи учеником, Шмелев проявлял большой интерес к театру и музыке. Иван Сергеевич Шмелев, 15-летним юношей, написал либретто к «Маскараду» Лермонтова, под названием «Игрок». (Из рассказа «Музыкальная история» Чеховского издательства. Нью-Иорк). Он послал свой текст Аренскому, и сообщил, что он хочет послать ему — если это Аренского интересует — и другие интересные вещи, подходящие для оперы. Аренский не угадал, что в мальчике кроется большой писатель, и ничего не ответил.

Иван Сергеевич также был увлечен произведениями Льва Толстого, особенно его проповедью простой богоугодной жизни. Тогда же у него возникло желание сделаться крестьянином и жить в общении с народом. Впоследствии Ивана Сергеевича всегда тянуло «к земле» и в России и в зарубежье: он разводил огороды, любил выращивать русские огурцы, укроп, громадные подсолнечники.

Единственный среди его учителей, который имел влияние на юного Ваню Шмелева, был преподаватель литературы, Федор Владимирови Цветаев. Этот преподаватель был страстным поклонником литературы и чутким лектором; он дал Шмелеву известный толчок для его будущего призвания. Он предугадал талант в мальчике и сказал, что в Шмелеве что-то есть, и что ему следует помнить о притче о доверенных талантах.

Настоящее же творческое дарование выявилось у Шмелева только в 1894 году, когда он был в восьмом классе гимназии. В качестве ученика оканчивающего он

проводил летние каникулы в деревне. Во время рыбной ловли на одинокой реке он попал на мельницу, в которой жил глухой старик. Мельница, старый человек, дикая природа, вода, скалы и обрывы, старые обветренные ивы: все это произвело на юношу сильное впечатление. Он почувствовал потребность писать, но не сделал этого. Позднее, готовясь к экзаменам на аттестат зрелости, занимаясь Виргилием и Гомером, он снова вспомнил о старой мельнице. Все образы снова вернулись к нему и пленили его. Он отложил в сторону книги и написал в один мартовский вечер в 1894 году большой рассказ «У мельницы», который он послал в редакцию журнала «Русское Обозрение».

В марте 1895 года, когда он уже был в Университете, он получил от редакции приглашение прийти для переговоров. Шмелев пошел туда и получил, по тем временам, значительный гонорар в 80 рублей и ответ, что рассказ был принят хорошо. Ему было предложено написать еще что-либо. Редактор высказался одобрительно и с похвалой за «живое чувство природы», «хороший диалог» и «прекрасный русский язык». Рассказ появился в Июльской книжке 1895 года в журнале «Русское Обозрение». Это было первое печатное произведение молодого писателя. Осенью того же года Шмелев женился.

Ольга Александровна Шмелева, жена писателя, рассказывала:

«Венчались мы в деревенской церкви в подмосковном имении матери Вани Шмелева, он был только еще студентом первого курса юридического факультета Московского университета. После венчания мы возвра-

щались пешком благоуханным полем — было начало июля (1895 г.), все поле было в цвету, а вечером того же дня внезапно решили ехать на Валаам». Поездка в Валаамский монастырь и была свадебным путешествием Ивана Сергеевича Шмелева с его молодой женой. Впечатления этого путешествия он описал в своем произведении «На скалах Валаама», печатание которого было, однако, связано с трудностями для Шмелева. Он отдал в печать, не представив свое произведение предварительно в цензуру и книга была конфискована по появлении. Цензура требовала, чтобы из книги были изъяты три печатных листа. Конечно, произведение от этого пострадало. Оно не нашло отклика в публике и Шмелев прекратил свою писательскую деятельность надолго. Это событие имело большое значение для творчества Шмелев, ибо, если в начале казалось, что он пойдет по литературному пути, теперь он от него отвернулся. С 1895 по 1905 год он вообще ничего не писал. Не только неуспех, но и университетские занятия и заботы об устройстве личной жизни были причиною этого молчания. В зарубежье Иван Сергеевич вновь переработал и издал книгу под заглавием «Старый Валаам», изд. ИМКА в Париже Editeurs Réunis.

Шмелев был на юридическом факультете в Москве, но посещал редко лекции своего факультета и ограничивался главным образом сдачей требуемых экзаменов. Он работал напряженно духовно. После своих занятий в университете, он чувствовал, что он стал другим, что он должен что-либо делать: читать, думать, работать.

Во время своих занятий, Шмелев посещал лекции профессоров и других факультетов, как Ключевского, Веселовского, и особенно проф. Тимирязева, труд которого «Жизнь растений» ему особенно нравился. Интересуясь естественными науками он главным образом занимался русской литературой.

В 1898 году Шмелев закончил университет с дипломом I-й степени. Затем последовал год военной службы. Затем, полтора года — с 1899 по 1901 год — он был помощником Присяжного Поверенного в Москве и выступал защитником в Мировом и Окружном Суде. Но эта деятельность его не удовлетворяла, и в 1901 году он стал чиновником особых поручений Казенной Палаты Главного Финансового Управления Владимирской губернии. Его служебные обязанности были связаны с частыми поездками по губернии для ревизии финансовых ведомств и больших финансовых и промышленных предприятий. Последующие годы сыграли большую роль в развитии писателя. В течение семи с половиной лет своей службы он ознакомился в своих служебных поездках с жизнью провинции и с условиями жизни русского народа. Об этом времени он писал (в очерке об Амфитеатрове): В девяностых годах ездил я по Владимирской губернии, попадал в глухие места, останавливался у народных учителей, у лесничих, объезчиков, податных инспекторов, у священников, у фабрикантов . . .

Также и позднее Шмелев много путешествовал по России: помимо Москвы и Владимирской губернии он хорошо знал Среднюю Россию, озера Северной России

— Приозерский край —, Каму, Оку, Волгу, Сев. Двину, Кавказ, Крым и даже Сибирь.

На основании своего судебного опыта Шмелев написал: «Изыскания в области торговли и промысла Владимирской губернии как предмет Финансового Ведомства». Труд был издан Министерством Финансов.

Хотя в эти годы его писательское творчество отсутствовало, все же его долгий опыт и наблюдения в отдаленных провинциальных деревушках, в гостинницах, на длинных пустых дорогах, нашли свое отражение в его многочисленных рассказах, как: «Патока», «Стена», «Поездка», «В норе», «Под небом».

Впечатление революции 1905 года и духовные течения с нею связанные имели решающее значение для возобновления писательской деятельности Шмелева. 1905 год пробудил снова его писательское творчество. Он почувствовал себя пробужденным и верил, что жизнь начинается снова. Служба чиновника ему казалась теперь тяжелым бременем.

И он стремился уйти от службы, как молодой служащий изображенный им «В норе», от этих ограниченных мещан, которые в этом рассказе изображены в образе землемера.

Осенью 1905 года, во время случайной прогулки в лесу, когда «Журавли летели к солнцу» и великолепные краски русской осени захватили душу- что-то снова начало бродить в нем, как тогда, десять лет тому назад, когда он писал свой рассказ «У мельницы».

Шмелев стремился сам к солнцу, к новой жизни: он написал детский рассказ «К солнцу», который явился

первым выражением его художественного переживания. Теперь началось его настоящее поэтическое творчество. Рассказ появился в детском журнале «Детское Чтение». Редактор Тихомиров остался им очень доволен и просил Шмелева прислать еще. Тогда Шмелев написал ряд детских рассказов, которые были опубликованы в том же журнале. Это были рассказы о солнце, свете, любви, отражение радостного и приподнятого настроения писателя. Здесь не было еще речи о проблемах, которые его волновали в его поздних произведениях, здесь говорилось только о «человечности, братстве и равенстве». Писатель рассказывал с любовью о людях и зверях, о благородных людях, стремящихся к «высокой цели», о светлых, радостных днях детства, о крестьянах и ремесленниках, пробивающих себе путь к жизни.

После 1905 года Шмелев начал писать произведения и для взрослых, проникнутые настроением революционного 1905 года и любовью к народу.

К этим рассказам относятся: «Распад» и «Иван Кузьмич». Они изображают гибель семей, которые не шли в ногу с движением и которые нашли свою погибель в тревожное время русских революций 1881 и 1905 годов.

На автора обратили внимание и его сердечно приветствовали в литературных кругах. Редактор литературного отдела «Русской Мысли» писал Шмелеву по получении его произведения: «Распад» будет напечатан, страницы «Русской Мысли» для Вас открыты. Жду с нетерпением продолжения Вашей работы».

После напечатания рассказа, ему сообщили о том, что «он произвел большое впечатление». Также на за-

седании «Общества любителей Русской словесности» говорилось много о «Распаде».

Начиная с 1907 года Шмелев погрузился полностью в свою литературную работу. Он покинул службу, поехал в Москву и стал сотрудником столичной газеты «Русские Ведомости», в которой появились многие из его рассказов. Его произведения печатались также в других газетах и журналах, как, например, «Киевская Мысль», «Биржевые Ведомости», «Речь», «Русское Богатство», «Современный Мир», «Русская Мысль» и др. Некоторые из них были главами романа «Спас Черный». который писатель начал писать, но бросил.

Шмелев думал тогда, что происходит крушение старых форм жизни в России. Новая жизнь, которую он не мог точно описать и которая ему представлялась в романтическом свете, казалось должна была прийти на смену старой жизни. Для него самого все показалось новым. Шмелев в своих произведениях того времени отражал «настроение городской демократии» захваченной событиями.

В 1906 году Шмелев написал «Вахмистр» и ««Жулик», в 1907 году «Гражданин Уклейкин».

Затем последовали: «Под небом», «Любовь в Крыму». Все эти произведения указывали на своеобразие молодого таланта.

Шмелев не принимал участия в «модернистских течениях», но остался на «широком пути русского реализма». Он считал, что случайно появляющиеся новые литературные течения будут преданы забвению, а оста-

нется главный путь русской литературы установленный традицией.

Большой успех принес Шмелеву его роман «Человек из ресторана» — 1910 — выдержавший несколько изданий. Некоторые критики видели в нем «социалистическую тенденцию», но в общем было признано, что «художественное равновесие ничем не нарушено».

Особенно редакция в «Новом Времени» выражала свое мнение о том, что социальный привкус сглажен «художественной формой» и что Шмелеву нужно предоставить полную свободу творчества и не мешать «идти туда, куда зовет его талант».

Этот роман сравнивали с другими произведениями, написанными на ту же тему, в частности с «Бедными Людьми» Достоевского, Было установлено, что это произведение проникнуто любовью к униженным, оскорбленным и обойденным, и что автор преисполнен веры в силу правды в жизни и значение человека».

Повсюду много говорили о новом писателе. Его изображение было настолько реалистично, что люди подумали, что автор сам был кельнером в каком-нибудь московском ресторане. Иначе было трудно себе объяснить точность изображения среды.

Шмелев стал сотрудником в издательстве «Знание«, в котором появились многие из его произведений.

В 1912 году в Москве организовалось «Книгоиздательство Писателей». В нем появилась большая часть произведений Шмелева написанных до 1918 года. Самые значительные из них, помимо названных, были:

в 1912 году — «Стена», «Поденка»;
в 1913 году — «Виноград», «Волчий перекат», «Росстани»;
в 1914 году — «Поездка», «Карусель».

Когда началась война, Шмелев жил в Калужской губернии. Теперь он писал для «Северных Записок» заметки об отношении деревенского населения к войне, которые он собрал в один сборник «Суровые дни».

В этом сборнике Шмелев приводит свои наблюдения над влиянием войны на психику русского народа и предвидит его восстание с пророческим предчувствием. Автор говорит также о напряженном ожидании народом перемен, которые должны были наступить в жизни.

Во всех произведениях этого периода от автора ожидали какого-то переворота, например «В Лике Скрытом», автор является провозвестником больших катастроф. Во время войны Шмелев оставался вне «борьбы фракций» и описал в своих произведениях духовное влияние войны на родине и страдания простого населения». Потом пришла революция. За Февральской революцией 1917 года, которую приветствовали очень многие из буржуазного класса, последовала большевистская революция в октябре 1917 года. Шмелев оказался одним из тех, которых тяжело поразило наступившее несчастье.

Он потерял самое дорогое — его единственный сын в 1921 году был в Крыму увезен местной властью большевиков и впоследствии расстрелян.

Иван Сергеевич поехал со своей женой в Феодосию, чтобы там найти сына, не найдя его там, он приехал

голодный и измученный в Ялту. В Крыму был голод и он записался в общественную столовку. Но и в этом учреждении не было больше хлеба. Когда он собирался уходит, к нему подошел человек средних лет, «бывший кельнер«, а теперь управляющий столовкой и спросил его, не он ли автор книги, в которй описывается жизнь кельнеров. Шмелев ответил ему утвердительно, тогда этот человек отвел его в соседнюю комнату и сказал: «Для вас есть хлеб», и отдал ему собственный кусок. Писатель нашел, что это было самым трогательным признанием его литературного творчества.

В Крыму Шмелев написал одно из своих лучших произведений: «Неупиваемая Чаша», историю «Голуби», и несколько сатиристических сказок: «Сладкий мужик», «Степное Чудо», «Веселый Барин», «Всемога», в которых он выразил свое отношение к событиям времени. О том, что Шмелев пережил в Крыму, его произведение «Солнце Мертвых» дает нам представление.

В апреле 1922 года, после ареста и гибели сына, он покинул Крым, вернулся в Москву, где ему удалось спасти по одному экземпляру его произведений и в ноябре 1922 года он вырвался за границу.

После короткого пребывания в Берлине он прибыл с женой в январе 1923 года во Францию. Он остается в Париже и останавливается у своей племянницы Ю. А. Кутыриной недалеко от Храма Памятника Наполеону у Инвалидов — Invalides (12 ул. Шевер, I-й эт. налево).

Трагические переживания революции оставили глубокие раны в его душе, которые и изменили и его ду-

ховный облик, и его творчество. Он познал истинную суть большевистской революции. Теперь он начинает описывать страдания русского народа под большевистским владычеством. Он «призывает Европу против посрамления человеческой души».

В Париже и Грассе Шмелев пишет «Солнце Мертвых», произведение, посвященное изображению гибели человеческой души в России. Это произведение является предупреждением миру: «Опомнитесь, пока не поздно!», «Поймите, вся ваша культура и цивилизация находятся на краю бездонной пропасти!»

Затем Шмелев пишет небольшие рассказы, из которых некоторые также безнадежны и полны отчаяния, как «Солнце Мертвых», а в других уже видится луч надежды. Того же настроения, что «Солнце Мертвых» следующие произведения: «Каменный Век» — 1924; «Туман» — 1928; «Панорама» — 1930. В сборнике «Про одну старуху» Шмелева собраны рассказы, общей темой которых является «Страдания русского народа под большевистским владычеством». В сборнике «Свет Разума» Шмелев приводит повести, в которых он говорит о духовном очищении и религиозном подъеме людей, которые много пострадали от большевистского режима.

Впечатления от жизни заграницей и тоска по родине нашли свое выражение в сборнике «Въезд в Париж». В этом же сборнике находится рассказ «На пеньках», который, особенно в Германии, был очень одобрительно встречен. — Шмелев жил затем в Ландах, в Париже, в Севре. Зимой большею частью в Севре, летом в Кап-

бретоне в Ландах. С ним неразлучно жила его жена Ольга Александровна.

После большевистской революции Шмелев написал произведения ужаса и отчаяния и выразил то, что ранило его душу. Начиная с 1930 года, он обращается от настоящего к прошлому. Теперь встают в его душе яркие образы и лики прошедших радостных дней его жизни.

»История любовная», в которой изображается пробуждение первых любовных чувств, содержит много лирики и юмора. В ней отчасти кроется автобиографический элемент изображенный автором.

...Была весна, 16-я в моей жизни, но для меня это была первая весна: прежние все смешались. Голубое сиянье в небе, за голыми еще тополями сады, сыплющееся сверканье капель, радостный перезвон на Пасху...

...все смешалось в чудесном блеске.

...и сама весна заглянула в мои глаза. И я увидел и почувствовал всю ее, будто о н а м о я, для меня одного такая... и в ней чудесное для меня, и я живу...

Разочарование в его первом чувстве и душевные переживания потрясают мальчика так, что он заболевает воспалением мозга. Он выздоравливает — почти чудесно. Конец романа намечает личную судьбу писателя, встречу с будущей женой Ольгой Александровной:

...Как-то под вечер я шел из сада, и у самой калитки столкнулся с прелестной девушкой подростком.

Она? .. она взглянула, пытливо, скромно ... Бойко закинутые бровки, умные, синеватые глаза. Они опалили светом ... Залили светом — и повели за собой, в далекое ...

Шедеврами автора являются «Лето Господне» и «Богомолье», над которыми он работал долгое время. Иван Сергеевич писал Епископу Леонтию в Женеву 24 мая 1949 г.: «Работа над «Богомольем» спасла меня от пропасти, — удержала в жизни ... О сем знала лишь ныне покойная моя жена». Эти произведения, написанные от 1927 до 1944 года, дают замечательные картины из жизни прежней России, ее духовную, религиозную и культурную жизнь.

После того, как Шмелев покинул Россию, он был неизвестен в Западной Европе. Теперь его ценят очень высоко. Его 60-летие было отмечено многими статьями и журналами, также как и его 35-летний писательский юбилей.

Русская эмиграция, пишет М. Ашенбреннер, считает Шмелева наряду с Буниным самым выдающимся современным русским писателем. * Благодаря ему русские люди-беженцы, могут вдохнуть родной воздух на чужой земле. В произведениях в которых автор потерянную родину снова восстанавливает, они находят утешение и надежду. Среди поэтов живших в эмиграции, Шмелев был особенно дружен с поэтом Бальмонтом.

---

* Следует упомянуть, что представленный проф. Ван-Вейком международным ученым славистом Лейденского университета в Голландии первым кандидатом на Нобелевескую премию, Иван Сергеевич Шмелев действительно был на высоте наилучших писателей эмиграции.

Последний описал человеческие качества Шмелева посвятив ему серию своих статей.

Главные произведения последних лет представляют вдохновенные гимны, прославляющие русскую жизнь и душу русского человека, с его верою, благочестием и душевностью. Но, как пишет Р. Киплинг, в письме к И. С. Шмелеву: «Ваше творчество выходит из рамок национальной литературы, обрело общечеловеческое значение.» Последний роман «Пути Небесные» посвященный О. А. Шмелевой, написан при ее духовном участии. Первый том закончен в мае 1936 г. 22-го июня 1936 года И. С. Шмелев теряет свою жену Ольгу Александровну после 40-летней вместе выстраданной жизни, его истинного Ангела-Хранителя, его верной спутницы изумительной по душевной кротости русской женщины. С момента ее потери И. С. Шмелев несет тяжкий крест душевного одиночества. Иван Сергеевич страдал тяжелой хронической болезнью язвой желудка, которая еще более обстрояется. Поездка в 1936—37 году в Печоры, Прикарпатскую Русь и Чехию, не облегчает моральных и физических его страданий. Великая война 1939—1944 годов вносит особенно тяжелые испытания и физические лишения в жизнь Ивана Сергеевича, ухудшает еще более его здоровье. В 1947 году он выезжает в Швейцарию для улучшения питания чрезвычайно истощенного организма. Вернувшись в 1949 году во Францию (91 ул. Буало), он удачно переносит в декабре месяце трудную операцию в Париже. Но в марте 1950 года переносит вновь тяжелую болезнь. В июне 1950 года казалось, что давнишняя заветная мечта И. С. Шмелева пожить в монастыре и закончить

третий том «Путей Небесных» осуществляется. 24-го июня его везут в автомобиле для поправки за 150 километров от Парижа в Обитель Покрова Божьей Матери в Бюси-ан-Отт — деп. Ионн. Восторг и радость достигнутой наконец цели переполняет сердце... но сердце не выдерживает и в 9 часов 30 минут вечера сердечный припадок уносит ко Всевышнему самого «Русского из русских» писателя, человека чистой совести, истинного Поэта России, Ивана Сергеевича Шмелева.

ТРАГЕДИЯ ШМЕЛЕВА *

Иван Сергеевич Шмелев всегда избегал говорить о своем неизбывном горе — потере единственного сына Сергея Шмелева, для него — Сережи, расстрелянного в Крыму в 1921 году.

«Это мое личное, я не хочу выносить это наружу», говорил он и до конца нес молчаливо свою тяжкую скорбь о нем.

Не многие знают об этом страшном событии в жизни Шмелевых. При них никто и не решался ни вспоминать, ни говорить о происшедшей трагедии.

Профессор Николай Карлович Кульман писал:

«Не хочется сейчас говорить о тех страданиях, которые выпали на долю И. С. Шмелева, — скажу только, что чаша этих страданий была наполнена до краев. Что было пережито им в Крыму, мы можем догадываться по «Солнцу мертвых», которое французский критик сравнивал с Дантовским Адом по силе изображения. Но ад-то был реальный, земной, а не потусторонний. Самые интимные личные страдания, однако, в этой книге целомудренно скрыты, поэтому и мы не имеем права говорить о них, пусть о них когда-нибудь скажут другие».

Теперь, когда нет на земле Шмелева, я решаюсь сказать об этом страшном и недосказанном. В начале я приведу выдержки из его записной книжки от ноября

---

* Ю. А. Кутырина, по данным архива писателя.

1920 года в Крыму. В кратких записях уже отражается этот страшный период времени. Позже он повторен в «Солнце мертвых».

Вот из его записной книжки, в городе Алуште, затем в Феодосии и Симферополе, после ареста сына. По отправленным письмам, указанным в записях видно, как он старался через центральную власть и через друзей-писателей, спасти сына. Его мука выражается в тяжких предчувствиях смерти сына, в снах. Тогда шли страшные 1920 и 1921 годы.

10. 12. 1920 г. От Сережи письмо.

21. 12. 1920 г. Письмо Серафимовичу, Горькому, Луначарскому.

8. 1. 1921 г. Открытка от Сережи от 16. 12. 20.

9. 1. 1921 г. Телеграмма Горькому и Луначарскому и Рабенек. Телеграмма Вересаеву.

12. 1. 1921 г. Открытка от Вересаева.

19. 1. 1921 г. Открытка от Сережи от 27 декабря.

20. 1. 1921 г. Телеграмма Волошину.

12. 1. 1921 г. Под 21 видел сон. Банки варенья. Сад в черных ягодах. Временами страшное спокойствие?! Отупение?

25. 1. 1921 г. Снег. Вихрь.

29. 1. 1921 г. Видел во сне Сережу — он пришел! Я его целовал и еще видел несколько дней спустя: он как будто приехал с дальней дороги. Лежал в чистом белье, после ванны. (Дата близкая к расстрелу сына Сережи. — Ю. К.).

5. 2. 1921 г. Выехали в Симферополь. Накануне сон: Сережа перевозил нас на особом



Семья Шмелевых в Крыму в 1920 году.

аэроплане... высадил нас в Москве у часов Университета. Стрелка показывала без четверти семь вечера.

19. 2. 1921 г. Выехали в Феодосию. Прибыли 14-го — воскресенье.

22. 2. 1921 г. Выехали в Симферополь.

24. 2. 1921 г. Прибыли в Симферополь, среда.

17. 3. 1921 г. Вернулись из Симферополя.

30. 3. 1921 г. За молоко — 2 десятка яиц, одна бутылка портвейна, одна бутылка красного вина, 2 куска мыла.
Павлин 20 000 рублей...

На этом обрываются заметки в маленькой клеенчатой записной книжке из которой вырваны (из предосторожности) страницы.

Потом Шмелевы выехали из Крыма в Москву, не зная окончательно судьбы сына и все еще в надежде спасти его.

Как они ехали, видно из слов О. А. Шмелевой, приводимых Верой Николаевной Буниной в ее статье о ней: «Умное Сердце» и так правдиво записанных:

— Ехали — Шмелевы— «верхом на бревне, положенном на тележные колеса, из Алушты в Феодосию...» Так просто рассказывала О. А. Шмелева. — «Только ноги очень мерзли, — думала и не доеду...»

Погибали в дороге Шмелевы и от голода... И спасла краюха хлеба, вытащенная из-под полы и вынесенная писателю **Шмелеву** таким же «бывшим человеком, который случайно узнал автора «Человека из ресторана» и когда не было хлеба, в благодарность за его пони-

мание «судьбы» и души человека, поделился с писателем этим куском, быть может, последним.

Так доехали Шмелевы до Москвы, но и в Москве, несмотря на розыски, ничего узнать о сыне не могли. Надежды почти не оставалось. Нервы и здоровье Ивана Сергеевича так пошатнулись, что на его личную просьбу и хлопоты собратьев-писателей отпустить на кратковременную поправку за-границу, не последовало обычного отказа, за него поручились и он с женой выехал 20 ноября 1922 года из Советской России в Берлин. Вот отрывок из его первого письма ко мне после выезда 23. 1. 1922. Он пишет:

«...Мы в Берлине! Неведомо для чего. Бежал от своего горя. Тщетно... Мы с Олей разбиты душой и мыкаемся бесцельно... И даже впервые видимая заграница — не трогает... Мертвой душе свобода не нужна.»

«1. 12. 22 г. — Итак я может быть попаду в Париж. Потом увижу Гент, Остенде, Брюгге, затем Италия на один или два месяца. И — Москва! Смерть — в Москве. Может быть в Крыму. Уеду умирать туда. Туда, да. Там у нас есть маленькая дачка. Там мы расстались с нашим бесценным, нашей радостью, нашей жизнью... — Сережей. — Так я любил его, так, так любил, и так потерял страшно. О, если бы чудо! Чудо, чуда хочу! Кошмар это, что я в Берлине. Зачем? Ночь, за окном дождь, огни плачут... Почему мы здась и одни, совсем одни, Юля! Одни. Пойми это! Бесцельные, ненужные. И это не сон, не искус, это будто бы жизнь. О, тяжко!..».

13. 1. 23. — Я получила письмо из Берлина, которое казалось вернуло надежду:

«Милая Юличка! Не знаю верить или нет? Делали публикацию о Сережечке, получили сведения, что:

Сергей Иванович **Шмелев** находится в Италии, Штабс-Капитан. Все это подходящее, но года не указаны. Посылаем туда справку . . .».

Но все оказалось жуткой эксплуатацией чужого горя, и человеческой скорби. Ими внесена была довольно крупная сумма на справки. И вот письмо от Шмелевой:

«Ваня думает выбраться отсюда не раньше весны . . . Мне же теперь все равно, где не жить, ехать иль не ехать, я теперь уже не живу, двигаюсь, так, как автомат. Живу еще маленькой надеждой, которая с каждым днем тает».

Вскоре все надежды рухнули. Все оказалось ложью, выманиванием денег у утопавших в горе людей, цеплявшихся в отчаянии за все, только бы найти сына, только бы его спасти, любой ценой!

За это время Иван Сергеевич получает дружеские, бодрящие письма от **И. А. Бунина**, который зовет его в Париж.

«25 ноября 1922 года. — Дорогие милые, сию минуту получил письмо от вас. Взволновались до растерянности. Спешу сказать два слова: Все, все будем счастливы для вас сделать . . . Нынче же Вам напишу, как следует, а пока только горячо обнимает Вас. Ваш **Ив. Бунин**».

«20 ноября 1922 г. — Дорогой друг, послал Вам записочку второпях. Теперь пишу толковое. Не буду говорить о чувствах, это прямо непосильно, без слов обнимаю вас. И к делу. А все дело, конечно, в вопросе — ехать ли

Вам в Париж? Отвечу так: боюсь, не смею звать Вас, но помимо того, что ужасно хочу вас видеть, думаю, что Вам бы следовало бы рискнуть немедля выехать сюда... Визу достать в Париж, очень трудно, но думаю, что достану все-таки мгновенно. Решайте же, и скорее... Целую, ждем ответа. Ваш **И. Бунин**».

«6 декабря 1922 г. — Дорогой Иван Сергеевич, сейчас пришло письмо от Вас, а я думал, что Вы уже в пути! Уж назвал на 10-е кое-кого из друзей на обед у нас с Вами...».

«Очень благодарю за письма, очень хороши и очень волнуют. Целуем Вас обоих. Всей душой Ваш **И. Бунин**».

Получив наконец визу, Шмелевы 17 января 1923 года приезжают в Париж.

Но, через 6 месяцев, в Париж приезжает из Москвы и **Н. С. Ангарский** и запрашивает И. С. о его возвращении на родину. И. С. Шмелев из Грасса, где он проводит лето на даче у Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных, пишет мне:

«...У меня к тебе большая просьба... Может быть Н. С. Ангарский, который за меня поручился... может сообщить что-нибудь важное о моих родных... Узнай от него, как обстоит дело с его поручительством, меня это очень мучает... Я надеюсь, что у него не было особых неприятностей. Я решил остаться свободным писателем, чего в России нельзя получить. Скажи ему, что я попрежнему признателен ему за все, что видел от него доброго...».

Иван Сергеевич Шмелев решает остаться во Франции...

О страшном конце сына, об убийстве его большевиками он узнает вскоре из случайной встречи со спасшимся от расстрела доктором, о котором он пишет позже в своем письме к защитнику такого же русского юноши **Конради,** — А. Оберу.

ПИСЬМО И. С. ШМЕЛЕВА

Господину Оберу, защитнику русского офицера, Конради, как материал для дела.

Сознавая громадное общечеловечское и политическое значение процесса об бийстве Советского Представителя Воровского русским офицером Конради, считаю долгом совести для выяснения истины представить Вам нижеследующие сведения, проливающие некоторый свет на историю террора, ужаса и мук человеческих, свидетелем и жертвой которых приходилось мне быть в Крыму, в городе Алуште, Феодосии и Симферополе, за время с ноября 1920 по февраль 1922 года. Все сообщенное мною, лишь ничтожная часть того страшного, что совершено Советской властью в России. Клятвой могу подтвердить, что все сообщенное мною — правда. Я — известный в России писатель-беллетрист, Иван Шмелев, проживаю в Париже, 12, рю Шевер, Париж 7.

1. — Мой сын, артиллерийский офицер 25 лет, Сергей **Шмелев** — участник Великой войны, затем — офицер Добровольческой Армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в Армии Врангеля, в Крыму, в городе Алуште, при управлении Коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию «для некоторых формальностей», как, на мои просьбы и протесты, ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников, чиновников.

Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли. Я тогда этого не знал.

На мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, мне отвечали усмешками: «выслали на Север!» Представители высшей власти давали мне понять, что теперь поздно, что самого «дела» ареста нет. На мою просьбу Высшему Советскому учреждению ВЦИК, — Всер. Центр. Исполнит. Комит. — ответа не последовало. На хлопоты в Москве мне дали понять, что лучше не надо «ворошить» дела, — толку все равно не будет.

Так поступили со мной, кого представители центральной власти не могли не знать.

2. — Во всех городах Крыма были расстреляны **без суда** все служившие в милиции Крыма и все бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в политике.

3. — Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштаников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, что подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты.

4. — Всех, кто прибыл в Крым после октября 17 года без разрешения властей, арестовали. Многих расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, — за то, что они приехали в Крым из Москвы, — бежали.



Расстрелянный большевиками в 1921 году в Феодосии Сережа Шмелев.

5. — В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.

6. — В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата, Дмитрия, лично мне известных. Первый служил писарем при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого основания, и несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в г. Ялте без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.

7. — Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.

8. — Всех бывших офицеров, как принимавших участие, так и не участвовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них — инвалидов великой войны и глубоких стариков.

9. — Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе-феврале 1922 года, и открыто заявивших, что приехали добровольно с тоски по родным и России, и что они желают остаться в России, — расстреляли в Ялте в январе-феврале 1922 года.

10. — По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии, в подвале Чеки и потом выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего за-границу, за

время террора за 2-3 месяца, конец 1920 года и начало 1921 года в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах, было убито без суда и следствия, **до ста двадцати тысяч человек — мужчин и женщин, от стариков до детей.** Сведения эти собраны по материалам — бывших союзов врачей Крыма. По его словам, **официальные данные указывают цифру в 56 тысяч.** Но нужно считать в два раза больше. По Феодосии официально данные дают 7-8 тысяч расстрелянных, по данным врачей — свыше 13 тысяч.

11. — Террор проводили по Крыму — Председатель Крымского Военно-Революционного Комитета — венгерский коммунист **Бела-Кун.** В Феодосии Начальник Особого Отдела 3-й Стрелковой Дивизии 4-й Армии тов. Зотов, и его помощник тов. Островский, известный на юге своей необычайной жестокостью. Он же и расстрелял моего сына.

Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, б. офицера забили на-смерть шомполами и отдали его тело татарам.

12. — Мне лично не раз заявляли на мои просьбы дать точные сведения за что расстреляли моего сына и на мои просьбы выдать тело или хотя бы сказать, где его зарыли, уполномоченный от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии Дзержинского, Реденс, сказал, пожимая плечами: «Чего вы хотите? Тут, в Крыму, была такая каша! . .».

13. — Как мне приходилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание из Москвы — «Подмести Крым железной метлой». И вот — старались уже для «статистики». Так цинично хвалились исполнители. — «Надо дать красивую статистику». И дали.

Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 года по февраль 1922 года. Если бы случайное чудо и властная Международная Комиссия могла бы получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших на земле.

Я не мог добиться у Советской власти суда над убийцами. Потому-то Советская власть — те же убийцы. И вот я считаю долгом совести явиться свидетелем хотя бы ничтожной части великого избиения России, перед судом свободных граждан Швейцарии. Клянусь, что в моих словах — все истина.

И. С. ШМЕЛЕВ.

Страшная трагедия, случившаяся в Крыму, отраженная в его «Солнце мертвых», отняла у Ивана Сергеевича не только единственного сына, она была причиной и ранней кончины его жены-друга и ангела-хранителя Ольги Александровны Шмелевой. После всего пережитого у нее началась болезнь сердца, которая и свела ее преждевременно в могилу. Она скончалась 22 июня 1936 г.

Привожу стихотворение И. С. Шмелева, написанное на ее могилку:

НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ ОЛЕЧКЕ.

Крест голубцом, и у Креста береза.
И другом присланная роза. *
Могилка, — мягкая, как и душа ея.
Вся — высшая любовь. По ней печаль моя...
Самоотверженно она меня хранила.
И мой нелегкий труд России подарила.

Ив. ШМЕЛЕВ.

Все пережитое О. А. и И. С. Шмелевыми, там в Крыму, где погиб во имя Белой Идеи их единственный сын, выражено писателем в «Солнце мертвых», — но в этом страшном документе целомудренно скрыто его личное.

Вот что пишут о нем современники, — и это только краткие отрывки:

«Велика власть таланта, но еще сильнее, глубже и неотразимей трагизм и правда потрясенной и страстно любящей души... — Видимые и невидимые слезы, боль мученичества, неисцелимая скорбь... — Никому больше не дано такого дара слышать и угадывать чужое страдание, как ему...»

— Несчастной татарке (в «Солнце мертвых») принесли тело ее сына, и на горной глухой дороге она целовала его в мертвые глаза. Седой татарин, возница, утирая слезы, сказал ей последнее утешительное слово: — не плач горькая женщина! Лучше своя земля».

«Солнце мертвых» — книга Иова — ... трагическая и страшная... Это грандиозное зрелище погибания не-

* Роза присланная проф. Ив. Александровичем Ильиным, из Берлина, осенью 1936 г.

умолимого... все вянет и подыхает — и человек, и зверь, и трава. Грядет красный ужас. В каменной тишине рассвета глядят «замученные глаза» — распятый рай...» — Н. Пильский.

«Солнце мертвых» — книга ужаса и скорби по погибающим ценностям человеческого духа. Для современного мира она звучит призывом: одумайтесь, пока не поздно; поймите, что вся ваша культура и цивилизация на краю бездонной пропасти.» — Н. К. Кульман.

«Солнце мертвых» останется в художественной сокровищнице русской культуры, среди тех, кровью и слезами написанных человеческих документов, какие грядущим поколениям расскажут о водворении ада на русской земле — Апокалипсис Русской Истории.» — Ю. Айхенвальд.

«Страшная книга, — как у Шмелева хватило сил написать эту книгу. Ибо более страшной книги не написано на русском языке.» — Амфитеатров.

«...Только очень крупный художник мог связать в страшный космический смысл, все ужасы революции с интимными трагическими переживаниями выйти из пределов личного горя и ужаса...» — Вл. Ладыженский.

Томас Манн писал, что лишь по этому произведению русского писателя постиг он суть русской трагедии, понял «лик революции».

Гергард Гауптман пишет: — «немецкой литературе вышла новая драгоценная книга «Солнце мертвых».

Сельма Лагерлеф: «Вы создали из событий этих страшных дней большое художественное впечатле-

ние . . . Скорблю о том, что все, что вы описываете, произошло в нашей Европе и в наши дни.»

«О чем книга Ив. Серг. Шмелева? О смерти русского человека и русской земли, о смерти русских трав и зверей. Русских садов и русского неба. О смерти русского солнца. О смерти всей вселенной — когда умерла Россия, о мертвом солнце мертвых.» — Ив. Лукаш.

И только умолчал Шмелев в этой книге о своей личной трагедии — убиении его единственного сына — Сережи, там же, в Крыму под солнцем мертвых. Нигде, никогда не писал Иван Сергеевич об этом своем личном неизживаемом горе, которое прошло через всю его жизнь, через все его творчество.

И вот остались «сны о сыне», которые я беру из записей Шмелева в книжке с вырванными страницами.

СНЫ О СЫНЕ СЕРЕЖЕ

Париж. Днем. Понедельник. 27.III — 9 апр. 23 г.

Видел во сне: старая пожилая русская женщина, похожая на служившую у д-ра Коноплева. Будто комната с накрытым столом, гости. И вот, женщина с лицом, как бы взволнованно-напряженным, таящим в себе что-то, что она сейчас торжественно-радостно сообщит. Я жду в волнении. И она говорит с тем же взволнованным и бледным лицом:

— А ведь, ваш сын, ваш Сережа — жив!

— Жив?! — Я сдерживаюсь, как бы от радости — и боли, что это окажется ложью. Зову — Оля!

Кажется пришла Оля. Женщина говорит:

— Мне сообщили, в письме написано, — служит — ? — или находится на гауптвахте!

Далее не помню. Она была в чистом ситцевом платье — светло-голубого цвета.

А лицо бледное, очень мертвенно бледное.

Днем 25. IV. 23.

Видел сон: я сильно подавлен — во сне это. И вот я вижу — в какой-то комнате — молодой человек, очень похожий на Сережечку, но бородка юности чуть рыжевата.

Всматриваюсь — он! Сережа! И я кричу, бросаюсь к нему, целую. Кричу, стараясь и себя убедить: «Оля! ведь это же **он! Он** с нами, а мы этого точно не видим: это же Сережечка, с нами, а мы этому до сих пор не придавали значения, не ценили! — И он как-то мило, смущенно дает себя ласкать, — что сказал он не помню. Костюм его как будто сероватый гимназический.

Сказал как будто что-то: ну, вот, папа . . . видишь . . .

17-го мая 1923 г.

Видел Сережечку . . . где-то в большой комнате у столба.

Он . . . лицо немного болезненное. Ему необходимо идти куда-то, куда-то его требуют.

Он смотрит на меня, как бы прося глазами, но как всегда, скромный, деликатно говорит, чуть слышна просьба:

— Ну, папочка, ведь у меня 39 градусов одна десятая.

Повторил два раза. Я его, кажется целую, или с великой жалостью держу за плечи.

Он, кажется, в ночной сорочке. Я смотрю — шейка голая, желтоватая, и с левой стороны от меня, на шейке немного загорелой, — желтоватой, — мазок кровяной. И его глаза, милые, кроткие глаза . . .

Сон: под пятницу, — на 27 мая — 14 — 1927:

Как будто я во Франции, но где — не знаю. Кто-то — не вижу — внушает мне — надо пойти в комнату или переднюю . . . там кто-то пришел. Вхожу. Комната пустая, высокая, как будто арка, но не круглая, а как бывает в вестибюле — квадратные колонны — простенки. И прилавок, или барьер, как в раздевальнях. Стоит в драповом не новом пальто — молодой человек. Я вижу его спину, голову остриженную, или вернее подстриженную. Бледная щека. Он обертывается и говорит как будто. — Я приехал, — или мне кажется, что он это говорит своим лицом. Я чувствую, что обрел — великую радость . . . что это он, Сережечка.

Я вглядываюсь, радостный, в его лицо — ведь он должен был измениться! — Он ли? **Он**, я узнаю его глаза, овал лица, — чуть изменился! — но это он, он . . . Лицо бледное-бледное, чуть желтоватое — видно, много перенес страданий! — Я беру его за плечи, прижимаюсь к нему и говорю — думаю! Теперь ты с нами, всегда, ты должен жить покойно, у меня есть все возможности, будешь отдыхать, **жить** . . . Он немного грустный, лицо как будто одутловато чуть. Радость во мне

трепещет, я его обнимаю, а он молчит, а может быть, что-то говорит — как будто, что — это же не я, я... — и — конец...

Какое страшное горе пришло к нам, как страдали Шмелевы, — так мучились и миллионы русских людей.

Приведя «Солнце мертвых» — эту трагедию русского народа и «Сны о сыне» — эти живые документы страшной муки, пережитой дядей Ваней — Иваном Сергеевичем Шмелевым и его женой, и страданий, не покидавших его до самого конца, — я хотела приоткрыть русскому читателю эту личную трагедию писателя, о которой сам он при жизни не мог никогда говорить, — **так она была велика.**

Ю. Кутырина.
Париж, 1962 г.

СОДЕРЖАНИЕ